

И

скатель

2

ФАНТАСТИКА · ПРИКЛЮЧЕНИЯ 1983





ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ ЦН ВЛКСМ

Искатель 2

ВОКРУГ СВЕТА

ФАНТАСТИКА · ПРИКЛЮЧЕНИЯ 1983

СОДЕРЖАНИЕ

Олег ВОРОНИН — Нет, не другие	2
Юрий МЕДВЕДЕВ — Чаша терпения	23
Дмитрий Де-СПИЛЛЕР — Межзвездные звоны .	76
В. ГЛАДКИЙ — По следу змеи	91

ОСНОВАН В 1961 ГОДУ № 134

«Искатель», 1983, № 2, 1—128, издательство «Молодая гвардия».
Выходит 6 раз в год.
© «Искатель», 1983 г.



Олег Воронин

НЕТ, НЕ ДРУГИЕ

Повесть

Я лежу на спине. Надо мной белизна потолка, глянце­вый диск плафона и бегучие зыбкие тени. Слева, в стыке стенных панелей, виден грязно-серый контур: не то стра­гостат, не то кривобокая морковка, а в общем, след строительной халтуры, и краешек окна, сияющего синевой. Справа — тот же потолок и та же дистрофичная побелка стен.

Больше мне ничего не удастся увидеть. Шея, плечи, затылок скованы шероховатой жесткостью гипсовых повязок. Нога при-

Журнальный вариант

хвачена к спинке кровати целой системой каких-то блоков, противовесов, тяг. Стоит чуть напрячься, и в спину, где-то между позвоночником и лопаткой, ударяет граненый, тупой шпальный костыль.

При чем здесь спина — непонятно. В подвеску я врезался грудью и успел еще, четко помню, вскинуть руку, прикрыться, ослабить удар.

А в общем я лежу. И наверное, встану еще не скоро. Так заявил главный хирург республики, персонально почтивший меня своим присутствием. Терпеть не могу медицину, да и прогноз был не больно весел, но хирург мне понравился.

Толстоносый и крупно-курчавый, с большими губами и куцыми сильными пальцами, он словно сошел со страниц «Хижины дяди Тома». Но зато изъяснялся куда как современно.

Окончив осмотр и что-то сказав главврачу больницы, главный хирург присел на край койки.

— Куришь?

— Не разрешают.

Сочувственно хмыкнув, он вытряхнул из маленькой пачки пару «казбечин», клёцнул щегольским газовым «ронсоном», ловко, обе сразу, прикурил, сунул мне одну, жадно затянулся сам.

— Кури... Эдакую статью — не табаком пугать. И выю твою ловлю не вдруг перешибешь. Склеим в прежнем качестве. Не завтра, конечно. Только как насчет терпелу? Пищать, снотворных просить не будешь?

Пожать плечами я не мог и молча пошевелил бровями.

— Ну и хорошо. Режим тебе, почитай, санаторный. Что нравится, тем и занимайся. Радио слушай, читай, о смысле жизни думай. Это, кстати, никому не во вред. С месячишко отдохнешь. Крепко прихватит, поорать захочется — не стесняйся, палата отдельная.

— Может быть, в общей будет веселей? — нерешительно произнес я.

Глянув на меня из-под лохматых бровей, главный как-то кривовато усмехнулся.

— Ну нет! Ты теперь знаменитость и достопримечательность. Корреспондент какой-нибудь пожалует или, лучше того, комиссия. А нам потом объяснять, что да зачем и отчего не обеспечили. Опять же здесь и гостей принимать удобнее. Друзей небось навалом? Я так и думал. Пусть ходят друзья. Не табуном, конечно. Девушка?

Я промолчал.

— Вот видишь, — главный будто даже обрадовался. — Я же говорю, о смысле жизни больше думать надо. У нас в народе знаешь как? — Вскинув короткую руку, он энергично потряс пальцем. — «Мужчина тот, кто построил дом, посадил дерево, убил змею, вырастил сына». Улавливаешь? Обобщай. Ну пока. Пилоты мои землю, наверно, роют.

С тех пор миновала неделя. Боль пришла и ушла, снова вернулась и стала почти терпимой, не беспрерывной, а так, караулящей. Видно, «склеивание» идет вполне нормально. Но, выполняя РОЦУ — руководящие, особо ценные указания, — меня по-прежнему держат в отдельной палате. И честно говоря, я за это очень благодарен.

Впервые в жизни мне не хочется с кем-то новым знакомиться. Что-то выслушивать. О чем-то говорить. Я слишком сильно устал. Хочу отдохнуть. Вот так, в тишине отдельной палаты, понемногу подремывая и почти бездумно. Я даже рад, что ребят пускают ко мне по одному и ненадолго.

Чудаки, они будто чувствуют какую-то вину передо мной. То и дело отводят глаза, разговаривают тихо, противно робкими, не своими голосами. И шутки неуклюжие, вымученные. Я люблю ребят, и видеть их такими мне неприятно. Но объяснять, доказывать, что все, с самого начала и до конца, все было совершенно правильно, мне не то чтобы лень, просто нет сил.

«Голова моя машет ушами, как крыльями птица...» Есенин? Кажется. Да, в самом деле надо прийти в себя, собраться с мыслями, а для этого отдохнуть.

Я постоянно подремываю и оттого просыпаюсь в самое разное время. Сегодня меня, например, разбудил предрассветный птичий концерт. Лена рассказывала, что пернатые крикуны не только видят, но еще и чувствуют восход, будто в каждую пичужку встроен сверхточный, не зависящий от погоды солнечный будильник.

Наверное, это действительно так. Во всяком случае, местные воробьи начинают свою толковищу задолго до того, как солнце, встающее за восточным хребтом, успевает заглянуть к нам в ущелье. Только-только первые лучи зазолотят облака, к ночи кутающие пирамиду на Пике, где похоронен геолог, открывший здешнее месторождение, в городе совсем еще темно, а птичье стрекотанье вдруг вспухает, словно под взмахом дирижерской палочки.

Лена, пожалуй, права: биология действительно наука века. И загадок у нее — на каждом шагу. Разве то, что происходит сейчас со мной, так просто? Я на редкость здоров и неплохо тренирован. К тяжелой работе привык, повидал ее немало. И раньше, на сейнерах, когда шла большая рыба и авралили все, кроме кэпа и кока, да и здесь, на Руднике, особенно пока «добирал» квалификацию. Над кабиной же провисел какой-нибудь час. Прошла неделя. Но до сих пор всем своим телом ощущаю я пружинную дрожь каната, бешеные рывки кабины и тяжкий, давящий, мнувший, как кормовой бурун, напор ветра.

Ну ладно, усталость физическую еще можно понять. Но откуда этот дурацкий комплекс неконтактности? Я даже не могу заставить себя толком поговорить с ребятами. А ведь это необходимо. Хотя в чем они сомневаются, отчего мучаются, просто не понимаю.

Еще до того, как Петрович, обернувшись к нам, произнес свое любимое: «Здесь вам не равнина, здесь климат иной...» — я уже решил, что идти в люльке — мне, а если придется лезть на опору, — то Малышку. Он гибок, тонок и проворен; я из всех оказавшихся тогда в дежурке, наверное, самый сильный и уж точно самый тяжелый.

Для какой-то другой работы, может быть, больше подошла бы и иная расстановка, а для этой такая, и только такая. Ведь могло получиться очень плохо. А так? Так мы сделали то, что были должны.

Я поднимаю руки и подолгу, словно впервые, разглядываю свои кисти, испятнанные розовыми рябинами молодой тонкой кожи. Ранки только-только поджили, ладони отчаянно чешутся, и я то прижимаю их к мягкой шерстистости одеяла, то поднимаю и подолгу дую как на обожженные. Руки, между прочим, как руки...

Петрович — мужик-голова, канатчик божьей милостью. И присловье его взято из хорошей, правильной песни. «Надемся только на крепость рук, на руку друга и вбитый крюк... и просим мы, чтобы страховка не подвела». Что ж, я не обманул тех, кто поставил меня на страховку. Руки, вот эти две, сделали свое. Отвели смерть от семнадцати. Напрочь. Когда она была совсем рядом.

А ведь это очень здорово — знать такое о своих руках.

И Малышок молодец. Не догадайся он полезть на опору с кранцами, еще неизвестно, как бы прошла кабина, когда полетели оттяжки. Ведь как получилось, все по первому закону технической подлости: «Чем чаще проверки, тем ближе отказ».

И что Малышка послали в дом отдыха — тоже хорошо. Он ведь еще не знает, что такое море.

Да, море...

Пройдет еще не очень много времени, и я его тоже увижу. Не с берега — с палубы. Его и Лену. Хотя, конечно, уходить с канатки сейчас, после аварии, не больно-то здорово.

Кое-кто на проспекте будет очень доволен: «Слабак! Раз побился — и с ходу в кусты». Ребята ничего не скажут. Будут молчать, отводить глаза, только не виновато, не сочувственно, как сейчас, а вежливо-равнодушно. И накануне отъезда обязательно окажутся заняты, чтоб не было проводов.

До недавнего времени я вообще не думал, что когда-нибудь захочу уехать отсюда, расстаться с ребятами. С ядовитым, как циан, а на самом деле таким задушевым Станиславом Бортковским — Петровичем, с красавцем и всеумельцем Гиви по прозвищу Бражелон, Пешечкой — Сергеей Пешко, вечным зубрилой, упрямым, как проржавевший болт, с нашим общим «племянником» — Малышом. Сначала мне просто нужно было оставаться именно здесь. И даже потом, когда мамы не стало. Куда ехать? Зачем? Ради чего? На какие-то дальние планы просто не хватало времени, слишком плотно оно было спрессовано, слишком занято.

И если по совести, интересно мы жили. Две «Явы», всевозможная радиотехника, «зауэры», за которые в московских коммиссионках были заплачены немалые деньги, и мой «Перлет», еще курковый, дедовский, но легкий, прикладистый, штурной работы, вороха рыбацких снастей и спортивной сбруи, кинокамеры и муззаписи, магнитофоны и книги. А еще «закон коммуны» и твердая уверенность в том, что сделать в этом мире можно все. Все и еще полстолько.

Кстати, как раз этим мало мы отличаемся от других ребят нашей бригады. Такой уж у нас город. И такая работа.

Город живет как подводная атомка в дальнем походе: общим курсом, одним интересом. Он построен комбинатом и для комбината. Здесь добывают металл. Каждый знает, куда и за-

чем он идет, у него, наверное, с полтысячи предназначений. Но мы называем его просто металлом. Может быть, потому, что в горькоме комсомола висит портрет космонавта № 1 с автографом: «Друзьям по общей работе». А может, просто так повелось здесь еще с войны.

Сейчас в часе езды от нас моднейший горнолыжный курорт, в «сезон» иностранцев как в Сочи. Но для нас все равно: Город, Рудник, Металл, Комбинат.

Наш «цех» — грузовая канатка — протянулся по склону горы на шесть километров. Он открыт всем ветрам и дождям, туманам и снежным шквалам, перекинут над такими расщелинами, что, обронив молоток, секунд пять не слышишь удара.

Мы ремонтники высшей квалификации. Такелаж, электричество, сварка, кузня, столярка, слесарка — мы можем все. И когда мы выходим на линию, на это стоит посмотреть.

Мы дежури́м сменами, по пять человек, и случается, что подолгу «тормозим», загорая на солнышке («тормозок» на местном жаргоне — это пакет со съестным, завтрак, обед, ужин — зависит от времени суток). Или, это зимой, греемся, сгрудившись у печушки, труба которой (тоже колорит!) выведена не наверх, а под пол и в сторону — ущелье продувается, как аэротруба. В такие минуты мы добры, кротки и даже немного мажорны. «Станислав Петрович», «Игнатий Викторович» (это я) и так далее.

А потом из мятого зева селектора вдруг доносится сиплый речитатив. Диспетчеры наши все на подбор, будто в боцманах ходили на Тихом:

— ...На втором пролете, у Майской, «жук». Вагоны «бурятся», а вы там кости греете!..

И мы лезем на опору, словно марсовые, бежим по страхсетке и срезаем «жука» — клубок лопнувшей, вылезшей из троса и спрессованной роликами вагонеток проволоки, а до земли где двадцать метров, а где восемьдесят.

Бывает и еще что-нибудь в таком роде. Выход на линию — это всегда аврал, спурт, марш-бросок, цирковой аттракцион и еще выезд «Скорой помощи». Иногда на четыре часа, иногда на двадцать четыре.

Канатка — это довольно сложно: тросы несущие, тросы тяговые, вагоны и подвески, опоры и приводы, промежуточные станции и разгрузочные бункера, шкивы и тормозные шайбы, короче, чему ломаться, тут хватает.

Дорога перегружена. Это самое узкое место техпроцесса. Стоит остановиться одной линии, и обогащательной фабрике не хватит сырья, заполнятся резервные емкости погрузочной станции, начнет лихорадить весь Комбинат. Канатка же должна двигаться круглые сутки.

Есть еще и «пассажирка». Тоже канатная. Она возит рабочих из Города к Руднику. Хозяйство попроще: три опоры, две кабины, одно кольцо тросов. Маятник. Кабина вверх, другая вниз. Потом обратно. Поломок здесь не бывает, за всеми узлами уход индивидуальный. Канаты прослушивают ультразвуком, меняют, как винты вертолетов, независимо от возраста через «эн» часов работы, профилактика — строго по графику. И даже при сред-

нем ветре — стоп. «Пассажирка» — барыня, и к ней мы отношения обычно не имеем. Но именно она (первый закон подлотики, ничего не поделаешь) отправила меня на больничную койку.

А в общем, все это прошлое. Наплевать и забыть. Важнее другое. Сколько времени я еще проваляюсь и что буду говорить ребятам? Ну почему, почему Лену угораздило стать именно ихтиологом? Ведь не только на борту «Богатыря» делают науку. Забавно получилось: год жили в одном городе, на берег ходили по одному пирсу — «академики» швартовались рядом, — а познакомились здесь, в горах, когда Лена приезжала в командировку на биостанцию. После ее отъезда я писал ей долгие и поначалу веселые письма. Потом она приехала на целых двадцать дней, и я тоже взял отпуск, но «Богатырь» уже заканчивал ремонт, и экспедиция ушла на полгода. Лена приезжала сюда трижды, и уже к последнему разу я твердо знал, что без нее не могу.

А сегодня я лежу на спине и думаю о том, что место второго механика, которое сейчас на «Богатыре» свободно, не будет ждать меня слишком долго, и об этом надо, как ни трудно, но уже надо, пора сказать ребятам.

* * *

Проходят две недели. Я сижу у окна. Вечер тепел и сух, и лампы включать мне не хочется. Так, в призрачных отсветах длинных фонарей, палата кажется уютно-безмятежной, надежно-спокойной. А как раз этого мне сейчас очень не хватает. Трубка сегодня отдыхает, не умею курить ее, когда злюсь или волнуясь, — она требует внимания. Трубку хорошо разжечь после доброй охоты или в конце очень трудного дня на линии, если только кончился он совсем как надо и ты сидишь на диване после душа и ужина, а приемник мурлычет что-то очень тихое и как раз «то».

Я курю сигареты одну за другой, жадно. Крохотная дужка тлеющего огонька не успевает померкнуть между затяжками, совсем как стоп-сигнал на длинном спуске. И думаю, думаю, думаю.

Самое смешное, что я великолепно понимаю, насколько мои сомнения — дурость, идиотизм, вопли. Хуже того. Тем, что и сегодня Петрович и Пешко ушли, так и не узнав о моем решении, я оскорбляю ребят. И предаю, роняю то большое, что связывает меня с Леной.

За эти дни в больнице я думаю не только о ней. И даже, пожалуй, меньше о Лене, больше о ребятах. Я перебрал в памяти все, чем жили мы эти четыре года, взвесил на точнейших весах, перемерил без скидок и хорошее и не очень, зачистил шлифы и снял пробы.

Они же правильные, чертовски правильные парни. Такие, как надо, хотя далеко и не ангелы. Они умеют вкалывать до боли в мускулах и на собраниях снимать толстую стружку с плановиков и снабженцев, зубрить сопромат и поднимать с лужки матерых секачей. Они терпеть не могут казенного пафоса и де-

шевых сантиментов, они насмешливы и едки, задиристы и грубоваты. Но все это только форма, только внешнее. Главное не в этом — в другом. Когда надо решать что-то, по-человечески серьезное, важное и большое, они же всегда поступают как люди. И все-таки и сегодня у меня не повернулся язык сказать, что я уезжаю.

Ах, Серега, Серега! Пешечка ты окаянная. Редкостного счастья ты экзemplар, все-то тебе в жизни ясно и понятно. Идешь ты по ней и вправду как пешка по доске, все вперед и вперед, если и рыскнешь на курсе, то строго на четыре румба, и выровнялся. Ты придешь к своему, станешь ферзем канатного дела, и когда-нибудь тогдашний Малышок будет сдавать техминимум по твоим учебникам. И это тоже важно и нужно. Но только я здесь при чем? У меня ведь нет этой цели! Я же приехал сюда из-за мамы, я же моряк, черт побери! И теперь, понимаешь, я должен, должен уйти на «Богатыре». И уйду. Без этого мне нет жизни.

Да, если бы Петрович пришел сегодня один, я сказал бы ему все. Самый старший из всех канатчиков, единственный, кто побывал на фронте, он почему-то сразу сошелся именно с нами, а потом стал совестью нашей четверки. С чего это началось? Когда? Пожалуй, с Малышка.

Я собирался тогда лететь в Москву за ружьями. А что? Разве четверо дружных холостяков не могут позволить себе такого? Могут. Набралась неделя за праздничные дежурства, ребята подобрали копеек и решили сгонять меня в столицу. Конечно, отправились провожать.

Из города мы выехали рейсовым автобусом и время отметили с хорошим запасцем. Все-таки узловой аэропорт, цивилизация, всяческие соблазны и перспективы. Но, еще не выбравшись из ущелья, поняли — спешили напрасно.

Над равниной, здесь бывает такое, вторые уже сутки висел вязкий, кисельный туман. Машины ползли по дорогам, беспорывно сигналив, с включенными фарами, осипшие от ругани инспектора рвали из рук права и сгоняли на обочины каждого, кто «прижимал» хоть под тридцать. Погода была еще та.

В новеньком, с иголки аэропорту волнами качалось людское море. Рейсы откладывали на час, и еще на два, и «до тринадцати... пятнадцати... восемнадцати», отчаявшиеся отпускники штурмом брали кабинет начальника порта, и расторопные железнодорожники, подогнав прямо ко входу два автофургона, бойко торговали боковыми местами в дополнительных вагонах.

Мы попытались было по-тихому подойти к справочной — не вышло. Построились клином, дагнули. В этот момент сзади раздался истошный, с переливами вопль.

— Мили-иция-я! Мили-иция-я!

Рядом с Петровичем, каланчой возвышавшимся над всей публикой, подпрыгивая от азарта, голосил какой-то деятель в сером габардине и каракуле. Поначалу я даже не понял, что произошло. Потом увидел.

От «каракуля» отчаянно, но безнадежно выдирался крепко схваченный за шиворот и за локоть какой-то шкет. Рука его, та, несвободная, была уличающе глубоко погружена в брючный карман Станислава Петровича.

— Мили-иция-я! Мили-иция-я! — «Каракуль» выводил рулады, как хозяйка ночлежки в пьесе «На дне». И в голосе его, визгливом, было какое-то такое пакостное торжество кляузника, что я на миг даже невольно пожалел пацана. Но у меня это вспыхнуло и прошло. А Петрович...

— Мили!.. — Неторопливым движением Бортковский протянул руку, снял с голосившего его каракулевую ушанку, изогнулся над ним, будто что-то разглядывая, и сожалеючи покачал головой.

— Так и есть.

«Каракуль» удивленно смолк, хотя добычу и не выпустил. Петрович так же неторопливо водрузил ушанку на место и грустно повторил.

— Так и есть.

— Что так и есть? — послышался чей-то недоумевающий голос.

— Протез он на плечах носит, вот что! — с великолепным возмущением рявкнул Петрович. — Отпусти парня, ты, псих на свободе. Видали Пинкертонa? Племянник это мой, понимаешь, племянник. Сын сестры. Бывают такие, сестра, тетя, бабушка. Слышал? Гостил он у меня, домой собирался, хотел я его самолетом отправить, а уж теперь — дудки. С этим Аэрофлотом сам скоро станешь на людей кидаться. Пойдем, Вася, пойдем, милый...

Так мы познакомились с Малышом — мальчишкой-старичком, который в свои пятнадцать с небольшим хватил такого и столько, что и взрослому можно навсегда позабыть про улыбку. Сирота-приемыш, выросший в доме не то баптистов, не то трясун — разница всегда была мне не очень понятна, — нещадно «поучаемый» за строптивость и непокорство, он сбежал, спутался со шпаной, начал подворовывать...

Мы забрали его с собой, привезли в Город и прописали, сначала у меня, потом в общежитии, поставили на канатку учеником и погнали в вечернюю школу. Неожиданно, во всяком случае для меня, все пошло хорошо с самого начала. Видно, Юрка — так звали «племянника» — достаточно щедрой мерой хлебнул натуральной, не из книжек уголовной романтики и возненавидел ее отчаянно. Но, по совести говоря, мы бы никогда не связались во все это, если бы не Петрович...

Я сижу у окна. Сумерки быстро, совсем как засвеченная бумага в ванночке с проявителем, набирают сочную черноту. Она поднимается снизу от города и разом стирает теневой рисунок рельефа на склонах Пика. По густеющему этому фону дрожжие светлячки матовых фонарей намечают ломаный график, схему канатки в вертикальном разрезе. Впрочем, на них я не гляжу — схема известна наизусть, бесчисленно, в туман и пургу, исхожена сверху и донизу.

Я смотрю туда, где на опорах «пассажирки» сегодня, как и в тот день, гревожными частыми вспышками перемигиваются парные огоньки штормовых сигналов. Они зажгли недавно, видно, снова задувает, и я машинально отметил про себя время — двадцать тринадцать. Что ж, третья смена уже разъехалась, последняя только-только заступила, сейчас «пассажирка» может и постоять. Тогда — не могла.

Мы сидели в дежурке, все пятеро, и время от времени подходили к дверям, чтобы глянуть на небо, — весь день над перевалом бушевала гроза. А когда воздух насыщен электричеством, не очень-то приятно лазить по железным опорам. Но грузовая была в порядке — линии вперебой курлыкали роликами подвесок и не слишком часто, и мы скучали понемногу.

Бражелон, ковыряясь в очередном своем сверхкарманном приемничке, высвистывал что-то на редкость заунывное, Сергей по обыкновению углубился в учебник, Малышок и Петрович ладили дверцу к печушке. Я лежал на жесткой лавочной доске под самым селектором, закинув руки за голову и предаваясь воспоминаниям.

Печурка затрещала, и Юра, достав замасленную тетрадку, присоединился к Пешке — вслух начал бубнить косолапые формулировки техминимума: «Несущий канат — это канат, по которому движутся подвесные транспортные средства. Тяговый канат — это бесконечный канат, к которому замками крепятся ходовые тележки подвесных транспортных устройств, приводимых в движение тяговым канатом. Подвесные устройства транспорта состоят из ходовой тележки, шарнирно соединенной с подвеской и саморазгружающегося вагона, шарнирно соединенного с развилкой подвески. Ходовая тележка состоит из рамы, к которой на серьгах крепятся каретки, каждая из которых имеет по два несущих ролика. Ролики крепятся...»

Потом, помню, я стал составлять словарь одинаковых по звучанию и совсем несходных по смыслу технических терминов. Таких, кстати, немало. Металлурги обкладывают огнеупорным кирпичом свод доменной печи, а мы — дубовыми чурками желоб шкива, чтобы улучшить его сцепление, с канатом. Но и то и другое — футеровка. Траверс для моряка — направление на ориентир, для альпиниста — участок маршрута, для канатчика — ролик, бегущий по тросу. Эта и еще какая-то похожая забавная чепуха крутилась у меня в голове...

Шел уже третий час смены, и по-прежнему погромыхивало над перевалом, и все было до тоскливости благополучно, когда по-змеиному зашипел «зуммер» полевого телефона. «Наверное, кто-то из Гивиных поклонниц, — подумал я (диспетчеры вызывали нас по селектору) и протянул руку. — Проведу я сейчас разъяснительную работу. «Полевка» все-таки не для светского трепана».

Но в трубке послышался характерный гортанный басок начальника цеха канатных дорог Ибрагима Ашотова Хохова.

— Кто это?

— Дежурный Байкалов у аппарата. — Я уже вскочил, понимая, что что-то стряслось: у Хохова были замы и по эксплуатации и по ремонту. С «самим» мы общались нечасто.

— Немедленно с инструментом самым коротким путем к Руднику! От шахтоуправления навстречу идет грузовик.

— Скольким выходить? Что понадо... — Одной рукой придерживая трубку, я придвинул журнал, чтобы зафиксировать вызов, но Хохов не дал закончить:

— Все, кто есть. Всё, что есть. И быстро, понимаешь, быстро.

Мы выскочили из дежурки, застегиваясь на ходу, и, срезая полуверстную петлю серпантина, сразу рванули по скороходке. Крутая и каменистая, местами с хилыми дощатыми ступеньками, зато с «перилами»-тросиком, натянутым на железных кольешках, — эта тропинка сбивала дыхание, но позволяла выиграть минут десять-двенадцать.

Где-то посредине я приостановился, глянул вверх. — обе линии работали нормально. Над предохранительной сетью, чуть покачиваясь, непрерывной чередой бежали вагоны. В чем же дело? Авария на Руднике? Но горноспасателей там хоть отбавляй, да и наш инструмент ни к чему. На «пассажирке»? Ну, чудес-то все-таки не бывает. Однако раздумывать было некогда.

Навьюченные ящиками со всем аварийным набором, бензоре-зом, домкратами и таями, мы выбрались наконец на дорогу. До следующего места, где можно было срезать петлю, оставалось метров сто, когда навстречу, стреляя из-под колес щбенкой, вылетел куцемордый вездеход.

— Что стряслось? С кем? Где? — Но водитель знал немногим больше нашего. Стала «пассажирка». Повреждение неподалеку от опоры, у Нижней станции. Нас вызывают на Верхнюю. Но что же конкретно произошло?

Запаса прочности в «пассажирке» — на два землетрясения, система безопасности — высшего класса. Ходовая тележка — с автономным тормозным приводом, в гондоле — проводник, ручная лебедка, люк в полу и «штаны» — подвесная беседка-мешок на одного человека. Даже если случится что-нибудь совсем уж невероятное — станет ГЭС, сгорит генераторная и одновременно лопнут тяговые канаты, — все равно и в этом случае пассажирам ничего не угрожает.

За двадцать минут в скачущем кузове мы чуть не остались без языков, пытаясь хоть до чего-то договориться, к чему-то прийти, но толку все равно не было. А на станции, у шахтоуправления, все оказалось неожиданно спокойно и чинно, только народа чуть больше, чем обычно бывает в это время. Дежурный оператор, встретивший нас на пороге машинного отделения, даже не подавал виду, что что-то случилось, и я на мгновение подумал, не разыграл ли нас какой-то лихой чревоушатель. Но только на одно мгновение.

Заперев за нами дверь, оператор метнулся к селектору:

— Прибыли, Ибрагим Ашотович.

Хохов, видно, не отходил от аппарата.

— Байкалов, слушай меня. Гондола стала в семи метрах над нижней опорой. Был сильный удар в подвеску. Очень сильный. Тяговый не проворачивается. Когда пытались, проводник доложил, что рвет оплетку несущего. Из окон ничего не видно, вылезать на кабину проводнику я запретил. Когда стукнуло, посыпались стекла, его порезало. Думаю, повреждены ролики. Клинят, вероятно, осколки. Метеорологи дали штормсигнал. Ветер дойдет до критического минут через сорок. В гондоле семнадцать человек. Что думаете?

Это была классическая манера нашего начальника. Он отдавал приказы, только выслушав тех, кому предстояло их выполнять. В любых случаях.

Петрович, запыхавшийся, чуть побледневший, на обтянутых скулах резко проступили въевшиеся порошинки, легонько отодвинул меня от селектора:

— Как со второй кабиной?

— Было двадцать три человека, сейчас эвакуируются по одному на беседке. Должны успеть.

— А разве в первой что-нибудь с «мешком»?

— Хуже. — Хохов выдержал короткую паузу. — Там женщина. На восьмом месяце. А через нижний люк... Ну, ты сам понимаешь.

— Та-а-ак... — Петрович отвернулся от селектора, глянул на нас, покусывая нижнюю губу. Чуть прищуренные глаза его были холодны и серьезны. — Та-а-ак, — повторил он и крепко потер подбородок. — Худо. Долбануло-то, видать, «прыгуном».

— Проходчики, понимаешь, проходчики рекорд сегодня ставили, — торопливо, захлеб зашептал сбоку оператор. — Профком встречу им организовал, ну, семьи, конечно, приехали, и одна там, — он показал, какая была одна, — я не видел, как она в кабину прошла, я...

— Не трясись, курдюк овечий, — оборвал Пешко его растерянный шепот-воплъ. — Смотреть противно. Кто тебя винит? — И, враз позавыв об операторе, уже задумчиво добавил: — Надо же. И ветер и прыгун. Да еще в подвеску.

Действительно, сочетание было фантастическим. Прыгун, камень, по каким-то неведомым причинам стронувшийся с вершины и заскакавший вниз по склону, ударяясь о барьяны лбы валунов, раз за разом набиравший скорость и силу, шел со свистом, иногда стометровыми дугами и был способен срабатывать как ядро древней mortar. Но чтоб шальная его траектория оказалась нацеленной точно в подвеску? Теоретически метеорит может угодить в трубу паровоза, но о таких происшествиях газеты пока не писали.

— А гондолу, друзья, придется вести вниз. — Бражелон пожегся и зачем-то начал разминать свои бицепсы. — Там ветер все же послабей будет. Но там и опора...

— Угу. — Петрович кивнул и опять обернулся к селектору. — Ибрагим Ашотыч, а пожарную туда никак не подгоним?

— Думали. Машина не пройдет. А лестницу снимать...

— Понял. — Петрович не тратил время на пустые разговоры. — Переждать ветерок? Покачаются, не умрут.

— А начнет рожать с перепугу? Да и оплетку несущего может порезать.

— Так, ясно. Ну что ж. Пустим люльку. Будем чистить.

— Кто пойдет?

— Разберемся, это недолго. А вы вот что: лебедку бы надо к опоре подкинуть да тросов. Если крепко задувать станет, расчалив надо будет кабину, чтоб не так болтало.

— Кранцов туда надо еще обязательно, скажи ему про кранцы, Петрович, — быстрым шепотом добавил Малышок.

— И то, — Петрович не глядя протянул руку, потрепал его по плечу. — Еще ребята дело подсказывают. Распорядитесь пару-тройку старых скатов заготовить. Вывесим на опору, сойдут за кранцы.

— Кранцы, телефон, лебедка — все будет. Бортковский, а с Нижней станции люльку не стоит пускать? Народ тут есть, собрались.

Петрович покачал головой, словно Хохов мог его увидеть.

— Тележка-то верхним концом на канате лежит. Отсюда и лезть. Лишний только помешает. У вас все?

— Действуй.

— Люлька на одного, остальные пойдут пешком к опоре, будем минут через двадцать. — И Петрович нажал кнопку, открывающую селектор. — Ну, мужики? «Здесь вам не равнина, здесь климат иной...»

Пока пассажирщики готовили аварийную люльку — круглую, цилиндром, корзинку, склепанную из железных планок, ребята успели уйти уже далеко. Я знал, что буду на месте куда раньше их, но понимал, что и сам я, если б пришлось оказаться на их месте, так же помчался бы вниз, по этой чертовой тропке и волок бы все, что можно отсюда уволочь, мало ли что понадобится, и бежал бы так, как только мог.

«Молоток, кувалда, ломик, малый слесарный, домкрат, домкрат обязательно, моток троса на всякий случай, бензорез ни к чему, большие тали, тали поменьше, кажется, все, нет, еще моток капрона с карабином, на цепи монтажного не всюду долезешь». Мысли были четкими, ясными, как на волейболе перед последней подачей, когда встреча уже почти выиграна и ты видишь, что на той половине «сломались», и знаешь, на кого подавать, и еще до удара чувствуешь, куда выходить в защиту.

Пассажирщики кончили возиться с приводом, я впрыгнул в люльку, опустил ремень каски, глянул на часы. В машинном мы пробыли восемь минут. «Потеряли восемь минут», — уточнил я для себя и махнул рукой оператору.

Ветер ударил по люльке сразу, как только она вышла из-под прикрытия станции, ударил плотно и тяжело, враз перехватив дыхание, в искрящую пыль растерев сигарету. Люлька качнулась так, что я тут же сунул руку за спину и, нашарив карабин монтажного пояса, пристегнул цепь к стойке. В такую погоду выходить на канат мне еще не приходилось.

Люлька летела быстро, сухо тарыхтя траверсами и заметно кренясь под ветром влево. Страховочные кольца тележки были полусомкнуты вокруг несущего каната, и я подумал, что надо будет раздвинуть их до отказа, как только пройду среднюю опору.

Снизу и слева донесся какой-то неясный голос. По тропке, низко клонясь к крутому склону, медленно поднималась группа людей, тех, кого выгрузили из второй кабины. Слов я не разобрал, но, судя по тому, что окликнул меня лишь один проводник, а остальные карабкались молча, я понял, что настроение у них не ахти. В цепочке были одни мужчины, и то, что ни один из них не глянул в мою сторону, мне очень не понравилось.

На этом участке несущие проходили высоко, метрах в пятидесяти, и только по тому, как быстро увеличивалась в размере пустая, оставленная пассажирами кабина, я мог ощутить, что скорость моего спуска весьма и весьма. Видимо, лебедка страв-

ливала тягловый трос моей люльки на полных оборотах. Кабина на соседнем канате пролетела мимо, как автобус на встречном разъезде.

Я успел лишь услышать трескучие хлопки распахнутой крышки нижнего люка и увидеть, что парусиновый мешок «штанов» дурацким, сверху вниз спущенным змеем, струнами натянув трюсы подвески, трепыхается далеко в стороне. Ветер крепчал.

Потом меня на мгновение подтолкнуло, пол люльки подпрыгнул, мы пролетели опору, ухнули вниз, и тут началось. Люлька шарахнулась в сторону, привязанная за рукоятку кувалда въехала в голень так, что в глазах потемнело, а руки сами собой схватили «ногу» подвески. «Ого! Вот это первый звоночек», — подумал я и, с трудом распрямившись, пошире развел страховочные кольца.

Это оказался совсем не лишним. От верхней до средней опоры канат был растянут над открытым склоном, и ветер здесь вытворял такое, что люлька начала исполнять шейк. Пока я прошел этот участок, меня приложило еще раза три, и я подумал, что в гондоле сейчас должно быть совсем неудобно, а потом у меня вообще вытряхнуло все мысли, и я только держался, одной рукой обхватив «ногу», другой вцепившись в поручень и коленями прижимая ящик со слесаркой.

За второй опорой, правда, стало немного попроще, но перед ней пришлось снова разводить и опять сводить кольца, неудобные, как замочек на часовой цепке, и, когда люлька начала наконец тормозить у пассажирской кабины, я уже перестал считать на себе битые места.

Здесь, у опоры, прикрытой от прямого ветра гребенчатой складкой склона, задувало не так сильно, но это было не лучше, а хуже, потому что ветер срывался, поддавал рывками, и люльку мотало отчаянно, и приноровиться к ее рывкам было невозможно, и кабина тоже качалась как идиотский, в хорошую комнату размером, маятник. Через окна я увидел, что все сидят на полу, придерживая друг друга и упираясь в стенки, и про себя похвалил проводника, догадавшегося хоть так сместить пониже центр тяжести.

Обмотанный бинтами и полотенцами, бледный, он подлез к окну и стал что-то объяснять на пальцах, но я отмахнулся — мне нужно было прежде самому сориентироваться. Внизу, у фундамента мачты, уже суетились люди, телефон был подключен, и я показал, чтоб меня спустили поближе, вплотную к тележке пассажирской кабины. Кто-то, я не видел кто, прикрывшись полой ватника, поговорил в трубку, лебедчик с верхней станции стравил метра полтора троса. Потом еще метр.

Обойма тележки, почти трехметровая литая железная балка, к которой на шарнире крепилась «нога», выходящая из потолка кабины, с моей стороны всей плоскостью лежала на несущем канате. Торцы у нее были острые, но, конечно, не до такой степени, чтоб рвать трехмиллиметровую проволоку тросовой оплетки. В чем же дело? Надо было лезть и посмотреть.

Я покосился вниз. М-да, метров пятнадцать, а то и все двадцать. Закрыв фиксаторы на роликах люльки, чтоб она не елозила по канату, распустил завязки монтажного пояса и надел

его как португую: под руку и через плечо. Крепление цепи приходилось теперь под самым подбородком, и я знал, что если придется зависнуть, то, по крайней мере, хребет я себе не сломаю. Потом пристегнул цепь к несущему тросу и полез наружу.

«Ничего себе акробатика, а еще, говорят, альпинизм — «отвесные стены, а ну не зевай» и все прочее — а если вот так, если нет стены?» — подумал я, перекидывая через несущий отрезок капрона. Потом, изловчившись, поймал затрепыхавшийся свободный его конец, обмотал оба вокруг кулаков и, извернувшись, спиной вниз вытолкнул себя из железной корзинки.

Так, так. Все понятно. «В горах ненадежны ни камень, ни лед». Такой это прыгун. Такой он уродина. Разбил-таки ролик. Каретка тоже погнута и смещена. Излом лежит на несущем. И клинит. И тормозит. И рвет оплетку. Режет как фрезой. Колотый ролик надо выбивать. Ясно. Все ясно, кроме одного. Как доставать будем?

Натуральной мартышкой, цепляясь ногами за свою люльку, словно в стремяна всунув носки сапог в ее решетчатые бока, я висел на руках под самой подвеской. Жесткий и скользкий капроновый шнур остро резал ладони. Но страха уже не было, была холодная, торопящая, заставлявшая действовать злость. Подтянувшись к канату, рывком рук и корпуса я перебросил капроновую петлю. Еще раз. Еще. И, свирепея от боли в ноге, вновь влез в свою корзину. Работать придется на весу. Беседку, скамейку и прочее ладить некогда. А взад-вперед тут шагать, этого и я, пожалуй, не выдержу.

Снизу, прикрывая вой ветра, донесся рокочущий бас мегафона:

— Игнат, что там? — От подножия опоры, задржав рупор мегафона, Петрович запрашивал обстановку. Жестами я пояснил, что тут. Особенно помочь они не могли, разве что вывесить на опору несколько старых покрышек да завести расчалки к кабине, чтоб поубавить ей прыти в раскачке, но все равно от того, что ребята были уже здесь, мне стало веселее.

Ветер все крепчал, и люлька уже почти не прыгала, а мелко тряслась, отклонившись от вертикали, словно стрелка креномера, и, как завести на кабину трос для расчаливания, мне было непонятно. В крыше ее тоже имелся лючок, и, наверное, я бы мог перебросить проводнику бухточку троса, но заставлять парня вылезать наверх мне очень не хотелось: порезало его изрядно.

Петрович, видно, тоже подумал об этом, потому что мегафон донес до меня:

— На расчалку пустим «штаны». Об этом не хлопочи. Действуй... — И я увидел, что телефонист у опоры опять взялся за трубку, и почти сразу же из кабины донесся приглушенный, но все же слышный звонок аппарата аварийной связи. А Малышок уже лез на опору, обвязавшись веревкой, чтобы затаскивать наверх покрышки, и я помахал ему, и крикнул, сложив руки рупором: «Не дрейфь, Юрок!» — хотя знал, что он меня не услышит.

Потом я проверил пояс, руки ведь должны были оставаться свободными, петлю домкрата повесил через плечо, привязал

поверх пояса шнур, продетый в рукоятку кувалдочки к брючному ремню, рассовал за голенища молоток, зубило, шведский ключ, короткий ломик, опять перестегнул карабин цепи на несущий и снова полез из люльки.

Боковые щеки каретки, в которой крепились ролики, были длиной в полметра, так что поначалу цепи мне все равно не хватало, чтоб подлезть куда надо. Но на «серьгах», шарнирно соединявших каретки с обоймой тележки, делались специально для страховки монтажников очень удобные проушины. Подтянувшись на цепи, я просунул правую руку между подвеской и несущим и, повиснув на локте, быстро перецепил карабин, просунул его через эту проушину на второй, целой каретке.

Теперь висеть было почти удобно, хотя со стороны я выглядел, наверное, как Уленшпигель, распятый на дыбе, — ногами цеплялся за поручни люльки и болтался спиной вниз на туго натянутой цепи.

Домкрат вошел на свое место сразу, это был очень удобный домкрат, со струбцинами в нижней части корпуса, позволявшими в любом положении крепить его на канате, и я затянул винты струбцин натуго, повисая на ключе всем своим весом, насколько позволяла мне цепь. Я знал, что снимать его мы будем в другой, более спокойной обстановке. Затянул и начал качать.

Словно подтверждая мои мысли, снизу опять заревел мегафон:

— Не возись с роликами! Наплюй! Освободи, расшплинтуй серьгу и сбрасывай всю каретку. Дойдет и на трех! — Видимо, в бинокль они смогли и сами во всем разобраться. Я помахал рукой, показывая, что все слышал, все понял, и снова ухватился левой за несущий, правой продолжая качать рукоятку домкрата.

Ветер вгонял в уши тугие пробки, выбивал слезы из глаз, и я не слышал скрипа разнимаемого металла, но видел, как постепенно по миллиметру маслянистый сизый канат несущего отдалается от тронутой ржавчиной плоскости подвески. Теперь, когда шток домкрата принял на себя всю тяжесть кабины, рывки стали более резкими и какими-то сдвоенными, и я мысленно представлял себе, как сначала в сторону идет вся кабина с «ногой», а потом, выбрав люфт шарнира, ведет за собой и балку тележки, и струбцины, намертво схватившие канат, скручивают его вокруг продольной оси и как амортизаторы принимают на себя, гасят рывок кабины; и мне было страшно, что струбцины не выдержат.

Потом дергать стало еще меньше, и я сообразил, что беседа уже спущена и ее тросы натянуты, и знал, что об этом распорядился Петрович. «Надеюсь только на крепость рук, на руку друга и вбитый крюк», — опять завертелись в голове обрывки из песни, и они уже не казались неуместными. «Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал...»

— Не отжимай, не поднимай до конца! Сначала расшплинтуй! — опять заорал мегафон, и я, как мог, обложил сам себя за дурость. Сейчас, когда все было связано более жестко, отцепить серьгу было, конечно, проще, и можно было сообразить это самому.

Шплинт, крепивший верхнюю втулку серьги, вылетел сразу, с двух ударов; и я только немного искровенил руку, разгibas его концы. Втулка тоже подалась легко, смазана она была как надо, и мне даже не понадобилось доставать засунутую под ремень кувалду. Постучал молотком с одной стороны, вогнал заподлицо выступавший конец, поддел рукоятку под шплинт, оставшийся на другом, и выдернул ось словно вагой. Глухо обрякнув, серьга повернулась на нижней, входящей в каретку оси, качнулась и стала, повисла на обойме каретки полупудовым чугунным П. Теперь подвеска с моей стороны держалась только на штоках домкрата.

— Хватит! Давай в люльку! Теперь продернем машиной!

Я попробовал пошатать отцепленную каретку; она сидела на канате как влитая. Кувалдой хватил по ней изо всех сил, раз, другой, третий — она не дрогнула. Ну что ж, значит, можно опускать домкрат. Потом снова на капрон, отцепить цепь, и можно убираться...

Тупой и тяжелый удар падающей каретки приходится по той же многострадальной голени, носки сапог выскальзывают из-под поручней люльки, та откатывается назад и вверх, и я повисаю над кабиной, как кукла на ниточках.

От боли мутится сознание, к горлу подступает тошнота, слабеют руки. До станции отсюда метров двести с лишним, ветер беснуется, треплет меня, как мокрую тряпку, и ясно, что долго я шнур не удержу. Это не конец, нет, цепь и пояс закреплены надежно, но с ногой что-то совсем нехорошо. Что ж они медлят? Почему не пускают кабину? Отсюда меня никак не снять, разве что на опору. Ага, сообразили.

Подвеска трогается с места. Я вижу, как Гиви и Пешко бросаются к ферме опоры, вижу, как спускавшийся от кранцев Малышок рванулся обратно и вот-вот долезет до верхней площадки, вижу парня, стоящего у расчалок, — он бешено крутит барабан лебедки, выбирая слабинку, вижу, как распахивается лючок на крыше кабины и перебинтованный мальчишка-проводник, изворачиваясь, тянет руки к скобам, наклепанным на граненое тело «ноги». В этот момент сильнейший рывок сотрясает подвеску, шнур выскальзывает из рук, и меня, как рыбину, висящую на леске, с размаху бьет обо что-то очень острое, очень твердое...

С тех пор прошло семнадцать дней. Я о многом, очень о многом передумал за это время. И о Лене, и о ребятах, и о себе. Я ни в чем никого не могу упрекнуть, даже себя, а уж их-то тем более. Каждый из нас строил свою жизнь так, как считал правильным, и все мы в отдельности, в общем и частном, справедливы, но почему, почему получилось так, что ребята и Город стали сейчас между мной и Леной?

Я сижу у окна, курю сигареты одну за другой, жадно смотрю на огоньки канаток и своей, грузовой и «пассажирки». Я знаю, что скоро, очень скоро, совсем скоро я буду страшно далеко отсюда. «Богатырь» готовится к рейсу, и документы мои оформлены. Сказать об этом ребятам мне будет непросто, но выбор уже сделан.

Мы сидим за столом. Петрович, Гиви, Серега и я. Маша, жена Бортковского, к моему возвращению из больницы прибрала в моем домике все так, как это умела делать только мама. Мы купили его, когда мама заболела и врачи сказали, что ей обязательно нужен горный воздух. Теперь он просто мой, и я даже не знаю, что с ним делать. Предложить ребятам? Они все живут в Комбинатовском соцгородке. Малышку? Ему через год в армию. «Паршивец, кстати, мог бы и приехать к моему возвращению», — мельком подумал я, вновь обращаясь к мыслям о доме. Оставить так? Приезжать сюда в отпуск? Саманная хатка без ухода долго не простоит.

А мне будет очень жаль, если он запустеет, начнет кособочиться, утратит тепло живого жилья. Домик маленький и очень уютный: две комнаты, кухня, плита и даже камин. Его я сделал сам, как только стал «домовладельцем».

Камин я сделал не у себя в маленькой комнате, ребята ее называли «хламешкой», а в маминной, и хотя в городе старые дома отапливались только углем, умудрялся добывать для него настоящую березу. Иногда мы разжигали его даже летом — на нем было очень удобно жарить шашлык, и мама очень любила смотреть, как я это делаю.

Потом я уже никогда не занимался этим дома, и кольцо с шампурами вот уже скоро год как пылится на стенке. И все-таки в большой комнате очень уютно. Дом стоит на окраине и на пригорке, и через одно его окно виден почти весь Город, а из другого — гигантский, навсегда вонзившийся в небо клык Пика. Из окна в бинокль можно увидеть маленькую серебряную пирамидку, обнесенную ажурной оградой, памятник человеческому подвигу и большой, настоящей дружбе.

Мы сидим у стола, а Маша хлопочет на кухне, и в открытую дверь доносится неповторимый запах баранины «по-дзагоевски» — есть тут у нас один осетин, взрывник и гурман, собственноручно пополнивший меню местного ресторана своим любимым блюдом. На столе крахмальная скатерть и кленовые листья в керамической вазе. Маша взяла ее, конечно, из дома и еще какие-то цветы, принесенные сегодня в больницу девушками из комитета комсомола.

Меня встречали торжественно, и провожали врачи и сестры, говорили всякие добрые слова, а я от всего этого только злился, чувствуя себя отвратительно. Они ведь не знают, что ты уезжаешь, но ты-то...

Все это выбило меня из колеи настолько, что, расчувствовавшись, я подарил главврачу трубку, на которую он давно уже клал завистливый глаз (еще бы, натуральный вереск), отдал жалючи и оттого обозлился на себя еще больше.

Мы сидели у стола, красивого, не холостяцкого, таким он будет тогда, когда мы станем приезжать в город вместе с Леной; и ее узнают и обязательно полюбят все, не только Петрович. Но на душе у меня холодно и немного тревожно. Я знаю,

что сейчас войдет Маша и внесет пахучую от чеснока баранину, Пешка, младший среди нас, разольет, а потом Петрович кивнет разрешающе Гиви Бражелону, и тот встанет со стаканом, нет, сегодня с бокалом в руках и начнет говорить что-то долгое и красивое, и я опять буду чувствовать себя преотвратно.

Мы сидим у стола, и вместе с нами здесь, в этой комнате, присутствует еще что-то, не наше, чужое и холодное, враждебное и неправильное, и я начинаю думать, что телепатия впрямь существует, что ребята чувствуют, угадывают то, что я собираюсь им сейчас сказать, и оттого они такие молчаливые и буд-то даже не рады моему возвращению.

Почему никто не подойдет к магнитофону? Почему вот уже час, с тех пор, как мы вышли из больницы и замсекретаря горкома пожал мне руку и попрощался, отказавшись поехать вместе с нами: «Нет, нет. Сегодня пусть вас окружают только самые близкие. Ведь весь Город знает, как вы дружите», — уже час прошел, но никто не начинает обычную травлю, не рассказывает о том, как хорошо нам бы работалось и жилось, «если бы, как на Н-ском комбинате...». Неужели же они и вправду что-то чувствуют?

— Ладно, парни, — говорю я, чувствуя, что не могу больше переносить этой тревожной, недоговоренной застолицы. — Ладно. Сегодня я почти новорожденный, а потому имею особые права. Плесни-ка, Серега, и давайте...

— Подожди, Игнат, — останавливает меня Петрович. Лицо его серьезно и грустно. Не с таким лицом встречают друга, который только что заштопал дырки на своем теле. «Неужели, — мысль обжигает как удар лопнувшего троса, — неужели же кадровики пароходства что-то сообщили на Комбинат? Точно, сообщили. И ребята теперь мучаются оттого, что я молчу, а они не знают, как отнестись к этому непроверенному слуху».

— Конечно, ты сегодня снова родился, — продолжает Бортковский. — И мы собрались здесь. Но все-таки первую мы выпьем не за тебя. Гиви скажет, наверное.

И Гиви встает. Гиви Бражелон, бывший десантник, мечтатель и щеголь, хранитель горских традиций и непревзойденный спец по любым «железкам», от болтов до транзисторов.

— Я скажу, Петрович, — произносит, как всегда, торжественным, но сегодня совсем не праздничным тоном.

Из кухни, осторожно ступая по скрипучему полу, входит Маша, тоже берет рюмку, что бывает крайне редко, и останавливается у дивана. Встают все остальные. И я. Гиви держит бокал в руке и не смотрит на нас, а куда-то в пространство, а все глядят на него, и он продолжает:

— В нашем народе есть такой обычай. Если в селе умирает кто-нибудь сильный, честный и мудрый, такой, кого в молодости со старшими за один стол сажали, его имя дают младенцу, который первый рождается после этих похорон. Мальчику, девочке, неважно. Потом они растут. У них есть родители. Но считается, что они дети не только своей семьи. А всей деревни. Для них у каждого всегда найдется время, место за столом,

добрый совет, хорошее слово. У нас в народе верят, что такой ребенок обязательно настоящим человеком может стать, даже лучше того, в чью честь и память он получил свое имя, и вся деревня будет гордиться своим не просто земляком — общим родственником. Мы с вами живем в большом городе, а не в деревне, и это знают не все. У нас разная кровь, мы приехали сюда из далеких мест, но мы с вами живем как одна семья. Я желаю каждому из вас, чтобы скорее появился сын, и знаю, что мой сын будет носить имя Георгий, Юра, и он будет нашим общим родственником, таким, каким был Малышок. И он будет достоин его.

— Малышок?! — невероятной силы струна натянулась и лопнула над всем миром, комната качнулась и стала на место, свет померк и вспыхнул с новой яркостью. — Малышок? «Был» ты говоришь?!

— Ты извини, Игнат. Может быть, мы должны были сказать тебе раньше, но главврач запретил. Ты был здорово плох. — Голос Петровича чуть вздрагивает, слова кусками рубленого железа падают в гулкую пустоту тишины, и я берусь за спинку стула, чувствуя, что ноги у меня подгибаются.

— А потом! Когда я не был плох! — почему-то кричу я так, словно этот крик способен что-то изменить.

— Потом ты был получше, но ведь один, без своих. Мы не могли приходить слишком часто, тоже не разрешали врачи, да потом и канатка. Ты не заметил, может, но посторонних к тебе не пускали. Потому и лежал в отдельной палате, чтоб не узнал случайно, пока не окрепнешь.

— А как это все? Почему? — Теперь я говорю почти шепотом. Гиви и Сергей отходят от стола и становятся рядом. Гиви берет меня под руку и зачем-то ведет к окну. Петрович идет следом, и голос его вздрагивает еще сильнее.

— Он сам вспомнил тогда про скаты и сам полез на мачту. Ты видел. Вывесил их точно, где надо было, а вот слезть не успел. Вернее, успел бы, но тебя сорвало и стало мотать, и пришлось двинуть кабину. Он увидел и кинулся наверх, видно, думал, что сможет помочь, понимал, что поспеет к тебе быстрее, чем Гиви с Сергеем. У него был трос, и он мог его тебе подать, а вот пояса пристегнуть не успел. Ты ведь обтекаемый, а у кабины большая плоскость, она парусила так, что не прошла бы опору, если б оттяжки не выбрали натуго. А потом они не выдержали, кабина пришлась в кранцы и даже помялась несильно, только стекла посыпались, а его сбilo. Мачта, ты знаешь, двадцать один, он был на самом верху, а внизу фундамент, бетон. Вот так, Игнаша...

Гиви, по-прежнему придерживая меня под руку, раздвигает занавеску. Прямо перед нами, в косых лучах уходящего солнца, четко и рельефно рисуется иззубренная пирамида Пика.

— Мы похоронили его там. Рядом, ты знаешь. Мы сами сварили ограду и вмуrowали в гранит. — Петрович кладет мне руку на плечо и умолкает.

— Значит, из-за меня... Значит...

— Нет, Игнат. Нет. Ты не прав. Метром выше, метром ни-

же — разница невелика. Расчалки ведь все равно полетели. Ты же знаешь, в горах бывает, «в горах ненадежны ни камень, ни лед, ни скала». Он сделал все, что мог, и ты сделал все, что мог. И даже больше.

Мы стоим у окна, четверо, рядом. Я запрокинул голову назад и смотрю на вершину Пика, туда, где уже две могилы, и не вижу ничего, потому что глаза мои полны слез и они не проливаются.

«Малышок, Юроня, Юрка. Как же неправильно все в этом мире! Почему ты? Ты ведь так и не видел моря. И со своей Леной ты не бродил по ущельям. И в армию ты уже не пойдешь. Оттяжки. Сволочные оттяжки! И я. Я не стал вызывать наверх проводника. А ведь ты был не старше его. Я не перебросил ему бухту троса. У меня не хватило пороху еще раз долезть до люльки. Я! Я, я, я, у меня, мной, из-за меня. Малышок из-за меня. Там, на Пике, из-за меня. Никогда не войдет в эту комнату из-за меня. Не попросит руля на дороге из-за меня. Да, так бывает в горах. «С горами надо быть на «вы»... Без алых роз и траурных лент и непохож на монумент тот камень...».

Я стою у окна и не вижу Пика, и бокал бессмысленно дрожит у меня в руке, и голову я запрокидываю все дальше, потому что все-таки не хочу, чтобы слезы пролились, и обрывки альпинистской песни крутятся в голове, и какие-то несвязные картины одна за другой проносятся перед глазами, быстрые, рваные, как несмонтированная кинолента.

Вот мы сидим с Малышком у старой копейки на краю картофельного поля. Ночь глухая и черная, в камышах за речкой с шорохом и треском продираются кабаны, и мой «Перлет» с повязанной на концах стволов белой тряпочкой — иначе не прицелишься в темноте, — в руках у Юры.

Директор совхоза прислал тогда за нами — кабаны рыли картошку не хуже копателей и рвали нитку электропастуха, обвешанную консервными банками, и гоняли совхозных сторожей. Юрка завалил тогда первого своего секача, здоровенного, килограммов на сто, а потом отказывался есть кабанятину. Это было.

Вот мы идем с Леной по тропке среди сосен, золотые от солнца стволы кажутся гигантскими восковыми свечами, и в ущелье глубокая тишина, как в огромном и пустом соборе, ботинки скользят по рыжему ковру прошлогодней хвои, пахнет смолой и почему-то свежим снегом. Лена идет впереди меня, сильная, гибкая, как будто совсем не ощущающая высоты, идет и идет ровно, быстро, легко.

А потом мы стоим на опушке; впереди из-под ледникового скола, искрясь крохотными радугами, белыми космами качаясь под ветром, сыплют свои струи бесчисленные водопадики, и Лена запрокидывает голову так, что шапка ее волос ложится мне на грудь, и я чувствую, что могу так стоять до тех пор, пока весь ледник не растает под солнцем. И это тоже было.

А вот я, загорелый, подтянутый, с небольшим чемоданчиком, поднимаюсь по трапу «Богатыря», а Лена смотрит на меня с палубы и ничем не показывает вида, что...

Стоп!

Я встряхиваю головой, и слезы все-таки проливаются, но я уже не думаю об этом. Я поднимаю бокал, рука моя по-прежнему дрожит, но я чокаюсь с Гиви, Серегой, Петровичем. Слезы опять застилают глаза, и песня теми же обрывками крутится в голове: «Да, пусть говорят. Да, пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря... Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой не пройденный маршрут». Другие? Нет, Малышок. Нет, милый. В песне так можно, в жизни — нет. Других не должно быть, Малышок, понимаешь, никогда не должно быть других, если они люди. Все — каждый и все — сам, только сам. Вот так, Малышок. Вот так, Лена.

— Нет, ребята, — говорю я. — Больше, чем я мог, я еще в жизни не сделал. Но я сделаю. Обязательно сделаю. Здесь, на Руднике.



Юрий Медведев

ЧАША ТЕРПЕНИЯ

Фантастическая повесть

4. ЭПИДЕМИЯ

Эона, до сих пор я не верил в существование инопланетян. Мыслящие облака, человекогрибы, люди-осьминоги, одушевленные сгустки света — все это, по-моему, выдумки. Учитель же считает, что другие миры повсеместно населены, а их обитатели — точная копия человека, подобно тому как одинаковы атомы во всей вселенной или спирали галактик...

Окончание. Начало в предыдущем выпуске «Искателя».

— Но почему атом не может быть размером с Колизей, а галактическая спираль соткана из серебристых веток джиды? Разум многолик, многомерен.

— Допускаю, что ты права, Эона. Но, говорят, нет ни одного достоверного факта появления инопланетян на Земле.

— Твой мозг может вместить двадцать миллионов томов убогистого текста. Это почти все книги Земли. Как же ты забыл статью, которой потрясал когда-то перед всем университетом? Вспомни: миланский журнал «Панорама»...

— К стыду своему, Эона, забыл.

— Я напомним тебе, забывчивый. Там говорилось о низкорослом существе с зеленой кровью, найденном возле осколков неведомого летательного аппарата. Существо было четырехпалым, без языка и зубов, без ушных и носовых отверстий. Напряги память: две фотографии на развороте.

— Вспомнил, Эона! А на месте ушей — глазные впадины... Лет пятьсот назад тоже находились охотники описывать людей, у которых рты — «межи плечами», а глаза — «во грудях».

— Прежде чем сгореть и развалиться, аппарат пролетел над землей четыре тысячи километров меньше чем за час. За ним следили радары, так что цифра примерно точна.

— Но как поверить, что зеленокровный карлик, беззубый уродец с четырьмя пальцами, может пилотировать космический корабль?

— У тебя, забывчивый, пять пальцев лишь потому, что ты произошел от кистеперой рыбы девонского периода, с пятью расчленениями на плавниках.

— Тогда, Эона, я хочу увидеть летевшего урода в лицо.

В Палермо самолет из Рима приземлился поздно вечером. Было тепло и сухо. Средиземноморские звезды висели над самым аэродромом, как под куполом планетария. Даже на бетонных плитах чувствовался терпкий запах кипарисов. От самого трапа до низкого вокзальчика прибывших сопровождала дюжина бравых карабинеров.

— В Риме нас встречали сестры с Евангелием и распятиями, а здесь — черти с автоматами, — услышал я разговор двух попутниц-монахинь. Одна из них, чуть ли не на голову выше меня, широко перекрестилась.

В таможенном зале висел во всю стену плакат: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОТРАВЛЕНИЙ УПОТРЕБЛЯЙТЕ ВСЕ ПРОДУКТЫ В ПИЩУ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТЩАТЕЛЬНОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ. ПОМНИТЕ: ПРИЧИНЫ ЭПИДЕМИИ ВСЕ ЕЩЕ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ!

— Что за эпидемия? — тихо спросил я у таможенника, кареглазого крепыша с лунообразным свежим шрамом на левой скуле.

— Разное говорят люди, синьор. Одни — что от масла оливкового, другие напирают на тухлую воду. Кто во что горазд. В общем, на сегодняшнее утро очоурилось сто семьдесят восемь человечков. Прими их с миром, всдержитель. — Он поднял глаза к потолку. — Пожалуйста, раскройте, синьор, чемодан. Съестное наличествует?

Кареглазый аккуратно отложил в сторону все, чем я хотел

порадовать Учителя: две буханки бородинского хлеба, банку селедки, целлофановые пакетики с клюквой.

— Продукты, синьор, конфискуются. Ввоз их строго воспрещен. Разве вас не поставили в известность в Риме, при вылете? Кстати, нужна ли вам справка о конфискации?

— Обойдусь без бумажек, — улыбнулся я. — Хотя ума не приложу: как вы сможете подвергнуть селедку специальной термической обработке?

Крепыш мне подмигнул и сразу же занялся монашками. Я пересек пустынный зал, сел в такси.

— Отель «Конхилья д'Оро», — сказал я шоферу. — И пожалуйста, парочку свежих газет.

— У меня, синьор, только «Голос Палермо». Другие можно купить по дороге, если немного завернуть в сторону церкви Сан Джованни, она, между прочим, двенадцатого века.

— Тогда прямо в «Золотую раковину».

Добрую треть первой полосы занимал снимок мужчины в луже крови и с раздробленным черепом. «Новая мафия», — гласила подпись. — Подпольное правительство Италии, твердо стоящее на двух китах — торговле наркотиками и коррупции. Взрыв террора в столице мафии Палермо: уже сто третье убийство только в этом году.

Я начал вчитываться в перепечатку из лондонской «Санди таймс». Оказывается, мафиози давно уже вместо спекуляции недвижимостью и строительными подрядами переметнулись к покупке игорных домов, похищениям людей и торговле наркотиками. «Конкуренция в этой торговле столь высока, что кровавая война между кланами не прекращается. Каждую неделю совершается очередное убийство или загадочное исчезновение новой жертвы. В Палермо поговаривают, что бетонные фундаменты новостроек на окраинах города превратились в склепы, забитые трупами мафиози. Главари кланов давно уже установили прямую связь — Палермо — Нью-Йорк».

— Интересуетесь мафией, синьор? — спросил водитель.

— Не больше, чем корридой или полетом на Луну, — благоразумно ответил я. — Хотя про специальный закон по борьбе с мафией слышал.

— Зако-о-он! — присвистнул он. — После войны правительство менялось полсотни раз, не меньше. А мафия цветет и не осыпается. Возьмем хотя бы такую загвоздку в Палермо — старые дома. Почти каждый день рушатся, сколько народу погибает. Вроде и денежки отпущены на реставрацию немалые, а вот поди ж ты, не могут главари меж собою столковаться. И чужакам не дают. Помню, попробовал один деятель из Северной Италии подновить кой-какие здания, так прямо на стройплощадках начали у него рваться бомбы. Представляете, синьор? Живехонько смотался в свою Брешию, только его и видели. В общем, живем, не тужим. — И он начал насвистывать мотив из репертуара Челлентано.

Об эпидемии «Голос Палермо» ничего не сообщал, зато на третьей полосе, сверху, большими жирными буквами значилось: **БЕСЧИНСТВА ИНОПЛАНЕТЯН ПРОДОЛЖАЮТСЯ. ВЧЕРА ПРИШЕЛЬЦЫ НАГЛО СПАЛИЛИ ИКС-ЛУЧАМИ РОЩУ МИНДАЛЬНЫХ ДЕРЕВЬЕВ В ОКРЕСТНОСТЯХ АГРИДЖЕН-**

ТО. Ниже пестрело изображение «летающей тарелки», смахивающей на перевернутый гриб боровик. Жалкая эта липа выдавалась за фото (правда, любительское), сделанное одним мучившимся бессонницей шофером. Под «боровиком» шла такая неусветица, что я поспешил перевернуть страницу. И вот удача! — дальше шло интервью с Учителем под заголовком «Сад приязни и развлечение души». После перечисления его заслуг, сильно преувеличенных, как и полагается при публикации беседы с иностранцем, корреспондент повел бойкую беседу.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Дорогой профессор, правда ли, что вы поклялись раскопать на холме Чивита и вернуть хозяевам серебряный глобус, который не сможет поднять ни один подъемный кран?

ПРОФЕССОР: Поскольку глобуса никто уже много веков не видел, я, вероятно, клясться должен был бы здешнему королю Рожеру Второму. Ведь это по его приказу арабский мудрец ал-Идриси руководил постройкой серебряного подобия небесного свода и большого круга, изображавшего поверхность нашей планеты. На мерцающем диске были выгравированы семь климатов земли «с их странами и областями, берегами и полями, течениями вод и впадениями рек», как писал ал-Идриси в манускрипте «Развлечение истомленного в странствии по областям». К манускрипту было приложено 70 отдельных карт.

Что касается подъемного крана, то судите сами: серебряное чудо весило около шестидесяти пяти тонн.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Из такой серебряной груды можно вылить не один подъемный кран! Но, извините, для вашего серебряного чуда нужно было и помещеньице немалое...

ПРОФЕССОР: Полагают, то была древняя норманнская башня, видимо, известная и вам, поскольку она рядом с вашей редакцией. Кстати, спустя пять веков после безвозвратной гибели глобуса в башне разместилась обсерватория.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Вы немного противоречите сами себе, профессор. Как можно найти глобус, который погиб?

ПРОФЕССОР: Так полагает большинство ученых. Примерно в 1160 году здесь, в Палермо, восстали недовольные новым королем, Вильгельмом Дурным, как вы помните. Среди прочего восставшие растащили по частям и глобус.

Но я придерживаюсь другого мнения. Во-первых, глобус был сооружен не в Палермо, а в крепости Чивита, это не так уж и далеко. Чивита основана примерно в те же времена, что и Палермо, но в Чивите явно преобладает эллинская культура, а король Рожер, хотя и был норманном, обожал Древнюю Грецию. Кстати, в Чивите он пребывал иногда по полгода.

Далее. Вряд ли престарелый ал-Идриси пережил бы гибель своего детища, тем более вряд ли стал писать для Вильгельма Дурного продолжение своего бессмертного труда. Он же, представьте себе, написал. Я говорю о сочинении «Сад приязни и развлечение души» — с семьюдесятью тремя картами. Это и позволяет мне надеяться, что серебряный глобус отыщется в Чивите.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Ваша гипотеза не лишена убедительности.

ПРОФЕССОР: Это не только моя гипотеза. О судьбе глобуса

в свое время блестяще написал наш русский поэт и историк Сергей Николаевич Марков! И знаменитый арабист академик Крачковский тоже внес свою лепту. Стоим на плечах гигантов, как говаривал Ньютон.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Когда вы надеетесь откопать глобус?

ПРОФЕССОР: Пока еще неизвестно, где именно в Чивите располагалась обсерватория. Но мы ищем не только глобус — мы копаем город.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Ползут слухи, что в связи с эпидемией многие участники вашей экспедиции спешно покинули Сицилию...

ПРОФЕССОР: Это не слухи. Уехали семеро — американцы, турки, шведы, француз... Это их право. Мы никого не удерживаем. Но раскопки идут. И будут продолжены.

КОРРЕСПОНДЕНТ: И еще вопрос, профессор. В связи с той же загадочной эпидемией поговаривают, что она вызвана вмешательством в земную жизнь пришельцев то ли со звезд, то ли из будущего...

ПРОФЕССОР: Наука оперирует не сплетнями, а фактами. Что касается пришельцев, то археология имеет дело только с пришельцами из прошлого: это добываемые из земли предметы старины. Они выставлены во всех музеях.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Извините, не замечали ли вы по ночам над Чивитой «летающих тарелок»?

ПРОФЕССОР: В отличие от астрономов археологи ночью спят.

С газетой под мышкой я ворвался в номер Учителя.

— Поздравляю, Сергей Антонович! Сногсшибательное интервью!

Учитель лежал, вернее полусидел, на трех подушках. Он немного похудел, выглядел усталым. Интервью он просмотрел мельком и отложил газету.

— Здорово работают, дьяволы. Сегодня после обеда без решения ввалились ко мне со своими легкомысленными вопросами, а вечером уже тиснули. — Он улыбнулся. — А вы молодец, что все поняли и примчались, Олег. Сердце у меня прихватило, притом основательно. Не меньше недели придется еще проваляться. Я как броненосец с пробойной под ватерлинией. Сверху ничего не заметно, но чувствую: потихоньку зарываюсь в волны...

— Пробоину заделаем, Учитель, — бодро сказал я. — Вот привез мумиё, облепихового масла, спелой боярки.

— Надеюсь, подарок Марио тоже привезли.

Я выложил Учителю на ладонь двухголовую ящерку в облачке ваты. Он развернул, внимательно со всех сторон осмотрел.

— Учтите, Олег, возможно, это ключ к разгадке непонятных событий последних двух месяцев. Включая эпидемию.

— Эпидемия! Инопланетяне! — не удержался я. — Да объясните, умоляю, что здесь происходит?

...А происходило следующее.

Июльской ночью в портовом городке Сигоне случилось землетрясение. Накануне была суббота, день почитания здешнего святого, великомученика Джузеппе. Еще с утра вереницы авто-

машин стекались отовсюду к кладбищу с часовней Сан Джузепе. Служба закончилась около часу ночи, поэтому большинство приехавших заночевало у родственников или прямо в машинах возле кладбища.

В половине третьего земля содрогнулась, в домах зазвенела посуда. Землетрясение здесь не редкость, поэтому мало кто обратил внимание на подземные толчки. Однако некоторых насторожили непрекращающийся вой собак, кудахтанье кур, хрюканье и визг свиней. Еще через полчаса Сигону постигло подобие массового безумия: люди в одном белье выскакивали из жилищ, лезли на крыши, карабкались на деревья, всхлипывали, выкрикивали бессвязные слова. К утру несколько галлюцинирующих скончались в мученьях. Подоспевшая к полудню бригада врачей из Палермо терялась в догадках относительно причин бедствия. Полиции пришлось оцепить Сигону. Положение между тем не улучшалось: психоз обрушился на двух врачей и добрый десяток полицейских. Власти, учтя серьезность положения, обратились за помощью к военным. Те, как водится, особо долго не раздумывали: скороспешно жителей Сигоны выселили, а еще через неделю вокруг городка уже блестело на солнце кольцо из колючей проволоки.

— Сколько же выселенных из мертвой Сигоны? — спросил я Учителя.

— Судя по путеводителю, жителей там насчитывалось около двух тысяч. Безумие коснулось лишь трети из них. Здоровых расселили по окрестным деревушкам. Больных поместили в специальный военный госпиталь. Это довольно близко отсюда, в районе Солунто.

— Военный, значит, госпиталь... Я постучал пальцами по столу. — Извините, Сергей Антонович, но при всем желании выявить связь между событиями в Сигоне и вот этой двухголовой ящерицей я не могу.

Учитель, чуть шурясь, глядел на ящерку. Светло-голубой халат лишь оттенял нездоровую бледность его лица.

— Не спешите, Олег, расписаться в бессилии. Я еще не сказал главное. Здесь перешептываются, что, мол, в Сигоне двухголовые плодятся теперь всюду. И не только ящерицы. Мыши. Крысы. Жуки. Голуби. И еще двухвостые, восьмипалые, с обезображенным телом, без черепной коробки, даже без мозга. Множество уродств, притом самых неожиданных.

Слова Учителя отдавались в сознании глухо, как подземные взрывы. Я представил себя одиноким астрономом в горах, вдруг заметившим лунной ночью, что к Земле приближается живое космическое облако отвратительных тварей, сладострастно и жадно взирающих на ее красоту. И приближаются уродины непостижимо быстро: принимать решение об отпоре нашествию нетопырей надо в считанные минуты.

— Скорее всего Марио давно забыл про ящерицу, прошло уже несколько лет. Но вдруг вспомнит? Я сейчас же ему позволю. — Я раскрыл записную книжку и потянулся к телефону. Учитель приложил палец к губам.

— Олег, про эпидемию по телефону — ни слова! Осторожность не помешает. И вообще — никаких лишних расспросов на эту тему. Кто знает, что за глыба здесь нависла. Почему

до сих пор сюда не впускают никого из всемирной организации здравоохранения? Почему закрыли въезд зарубежным врачам, всем, кроме американцев?.. А так называемые инопланетяне — что за бредятина? Понимаю, газетчики наткнулись на золотую жилу, трубят про пришельцев во все трубы. Но, может, просто отвлекают внимание от эпидемии?

— Завтра с утра засяду за газеты, — сказал я. — Насчет пришельцев надо копнуть поглубже.

— Завтра поедете в Чивиту, Олег. Нельзя, чтобы экспедиция развалилась окончательно. И прихватите с собою вон ту зеленую папку, слева на шкафу. Там газетные рассказы про инопланетян. Кстати, вы еще, кажется, как следует не устроились в номере. И не поужинали...

— Номер мой напротив вашего, Учитель. Что касается ужина, то я просто выпью внизу, в баре, теплого молока, а потом немного прогуляюсь. Заодно позвоню Марио из автомата. Вы правы: инопланетяне вполне могут прослушивать гостиничный телефон.

Тень улыбки скользнула по иссохшим губам Учителя.

— После разговора с Марио зайдите, Олег, ко мне.

От гостиницы к невидимому отсюда морю тянулась стена тростника. Сухие стебли слабо позванивали на ветру. Справа подступали к улице уродливые двухметровые кактусы, похожие на скульптуры модернистов. За ними угадывались двухэтажные особняки местной знати. Ни одно окно в них не светилось: Сицилия засыпает рано.

Телефон Марио я помнил наизусть. Трубка долго молчала. Я уже отчаялся, когда раздался певучий голос, который я узнал бы из тысячи других:

— Слушаю.

— Антонелла белла¹, — выдохнул я. — Может, ты вспомнишь Олега? С нежным прозвищем Земледёр. (Да, иначе как земледерами нашего брата археолога она не именovala.)

И снова долгое молчание.

— Антонелла, — сказал я шепотом.

— Откуда ты свалился? — спросила она тоже шепотом. — Из Москвы? Из Рима?

— Из Палермо. Из «Золотой раковины». И намерен звонить тебе беспрерывно, пока не кончится виза. Позови, пожалуйста, к телефону Марио.

Трубка сотряслась от всхлипываний.

— Святая мадонна, он в госпитале бенедиктинцев! А до этого чуть не умер в Солунто. Господи, как он мучился, как бредил! Но, слава богу, остался жив. — Она опять зашептала: — Я переехала сюда, к нему, потому что мама без Марио совсем сдала.

Я спросил:

— Ты не помнишь его диагноз, Антонелла? Может, нужны какие-то лекарства?

— В том и ужас, что никто ничего не знает. У нас это называется просто — эпидемия. Многие уже умерли, ты, верно, слышал. Это чудо, что я в тот день не поехала с Марио в Сигону. — Она всхлипнула.

¹ Б е л л а — прекрасная (итал.).

— Можно ли навестить Марио в госпитале?

— Только по воскресеньям, с четырех до шести. В другие дни монахи не пускают. У них там строго.

— Воскресенье послезавтра. Давай встретимся в три возле картинной галереи? Вместе съездим к Марио.

— У галереи? Возле фонтана Трех лилий? На нашем любимом месте? Ты не забыл? — печально спросила она.

— Я ничего не забыл, Антонелла белла, — сказал я. — Если понадобится моя помощь до встречи, звони в «Золотую раковину». Но учти: завтра почти весь день я буду на раскопках. Спокойной ночи!

— Узнаю тебя, Земледер. За эти годы ни одного звонка, ни строки, а желаешь спокойной ночи, будто мы расстались лишь вчера. Остроумно. Кому спокойной ночи: мне или себе?

— Средиземному морю. Ты, кажется, окрестила его землеобъемным, помнишь? И куда можно уйти по лунной дорожке, не забыла?

— Оставь этот тон, Земледер! — Она повысила голос, и он слегка задрожал. — И запомни: землеобъемное море давно смыло все наши следы. Остались лишь твои потуги на остроумие. Продолжай веселиться. Чао!

Она повесила трубку и больше на звонки не отвечала.

Я вернулся в гостиницу. Несколько пожилых, плотно сбитых господ похихатывали у телевизора с экраном на полстены. В ресторане играл сразу на пяти инструментах кудрявый человек-оркестр. Я отказался от заказанного молока и пошел к Учителю. Он тоже смотрел телевизор.

— Вы, Олег, кое-что потеряли, — сказал Учитель. — Только что показывали фотографии инопланетян.

— Которые бесчинствуют по всему острову на радость газетчикам? Ну и потеха. На что они похожи? На сосиски? На осьминогов? На велосипеды с гусиными лапами?

— На существа в скафандрах. Двуногие. Двурукие. Одноголовые. Оседлавшие «летающую тарелку» довольно изящных форм. — Учитель показал руками подобие эллипса.

— Само собою. Пришелец без «летающей тарелки» — что ведьмочка без помела.

— Увы, Олег, вы правы, — сказал Учитель. — Здесь полный трафаретный набор. Вблизи «тарелки» и мотор у автомобиля глухнет, и желтые пятна на траве от нее остаются как будто... — Он задумался не договорив.

— Позвольте закончить за вас, Учитель, — сказал я. — Как будто вылился желток из яйца ихтиозавра. Размером с летающее в небе озеро. С ликами великих археологов. Не так ли?

Странно, но на упоминание о летающем озере Учитель ничего мне не ответил.

В два часа ночи я вышел у себя в номере на балкон. Белая подкова «Золотой раковины» лежала на склоне холма, сбегавшего к заливу. В свете молодого месяца серебрились купола тутовых, лимонных, гранатовых деревьев вперемежку с кактусами. Слева, где петляла бетонная дорога, возвышался Драконий мыс. Он и впрямь походил на дракона, припавшего пастью к морю. Десяток деревьев с искривленными от ветра стволами — скорее всего маслины — смахивали на драконий гребень. Море выды-

хало запах водорослей, медуз, пенящихся волн. Волны катились к зеву дракона из времен странствий Одиссея и его сотоварищей, времен Фемистокла и Ганнибала, пунических войн, немыслимых триумфов цезарей на колесницах, запряженных львами, времен, в водовороте которых рождались и гибли вожди, наложницы, сатрапы, палачи, зрители маяков, предсказатели будущего, мудрецы, умерщвляющие сами себя по повелению сатрапов, предпочитая изгнанию к берегам ойкумены, земли обитаемой, смерть. Волны накатывались, как римские когорты, взбрызгивая темную влагу...

Далеко над морем вспыхнула и погасла, как перегоревшая лампа, молния. Мне почудилось, что она высветила в небе исползских размеров лицо, чьи черты не раз я угадывал в тревожных снах. Я вгляделся в ночной простор — и вот в мгновении высверки молнии природа снова запечатлела в небе черты Снежнолицей.

Почему образ утраченной красавицы не давал мне покоя все эти годы? Дважды погибшая, разметенная селевым валом по урочищу Джейранов, валом, перемешавшим ее плоть с осколками горных пород, ракушками, ветвями барбариса, мертвыми змеями, божьими коровками, сурками, ящерицами, стрекозами, — почему она навязчиво оживала в моей памяти? Вернее, из хаоса воспоминаний восставала ее красота. Ее мертвая красота...

Пусть так. Мертвая. Отчего же живая ее сестра, красота земная, та, что обступала меня, как бы пятилась перед навязчивым виденьем Снежнолицей, плывущей в своей хрустальной ладье вниз по реке времен?

Что подразумевал гений, подверженный припадкам падучей болезни, когда прорицал: красота спасет мир. Спасет, но как? Спасение предполагает действие, волю, противостояние воинству зла. Красота же изначально пассивна, смиренна. Она ждет поклонения, восторга, возвеличения, ждет, наконец, обладания ею, дабы повторить все в тех же прекрасных формах саму себя... А если не в столь прекрасных? Почему так тревожат, оскорбляют видимые изъяны в совершенной красоте? Допустим, Снежнолицая была бы горбуньей... Или колченогой карлицей. Или восьмипалой... Ребенок, родившийся даже двухговым монстром, воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Но Венера Милосская, родившая двухголового монстра! О нет, тут не утешешься, что, мол, живет и от красавицы урод, тут в другую вселенную улетает от дерева семечко, туда, в пугающую тьму...

Быть может, прекрасное — это зеркало, отражающее юность мира, радость осознавшей себя живой материи? А уродливое — предвестие распада, гниения, угасания жизненных сил, безобразия странницы с острой косою смерти... Нет, тут какое-то противоречие непостижимое. У истоков мира не было вообще красоты: кипящая лава, мертвый пепел, остывающие камни, чад и смрад. Красота, видимо, прибывала, нарастала вместе с совершенствованием живой природы. Пока не расцвела в человеке...

Расцвела и остановилась в расцвете, даже начала убывать? Иначе как объяснить, что мы ищем канон красоты в той же Древней Греции, а не в современном искусстве. Модернизм — это что, красота? Бесплодие. Бессилие. Мазня. В поисках идеала

прекрасного мы беспрестанно оглядываемся назад, ищем ответа у Рублева, Леонардо, Рафаэля. Так что есть Красота? И почему ее обожествляют люди?..

Я вернулся в номер, запер дверь на балкон, задернул зеленые занавески. Уснуть уже не удастся, это несомненно. Лучше всего, пожалуй, пойти побродить по берегу. Но внезапно вместе с мыслью о море мной овладела тревога: показалось, что в комнате я не один. Я зажег верхний свет, сходил в ванную, открыл шкаф, заглянул под кровать, под диван... Разумеется, никого. Впрочем, немудрено и встревожиться: эпидемия, госпиталь в Солунто и госпиталь у отцов-бенедиктинцев, лицо Снежнолицей над морем, инопланетяне — на первый вечер в Палермо многовато...

Ладно. Пришельцы так пришельцы. Я включил настольную лампу и решительно придвинул к себе зеленую папку. Вырезки были заботливо разложены по датам. Первое сообщение гласило: «ЗАГАДОЧНЫЕ ПОДЖИГАТЕЛИ!

Луиджи Сатриано, владелец небольшой оливковой рощи в предместьях Агридженто, вчера пополудни позвонил к нам в редакцию и сообщил ошеломляющую новость. Он готов поклясться на Священном писании, что минувшей ночью видел над своей рощей «летающую тарелку». По его словам, тарелка вначале показалась со стороны залива, слабо мерцающая в небе. Затем она зависла над рощей, осветила узким лучом одну из олив, которая сразу же задымилась. Сатриано (он спал в саду) побежал в дом, разбудил жену и трех своих сыновей. На их глазах дерево вспыхнуло, после чего «тарелка», издававшая слабый шум, как от вентилятора, удалилась опять к заливу. Пламя удалось сбить струей воды из шланга, но дерево оказалось загубленным.

Наш корреспондент немедленно выехал к месту происшествия. Действительно, одна олива в саду Сатриано обуглена. Никаких следов инопланетян не обнаружено. Сатриано (он в твердой памяти и здравом уме) слово в слово повторил таинственные обстоятельства прошлой ночи. Полиция ведет расследование.

Дальше подобные истории посыпались, как лепестки с увядшей розы. «Тарелку» видели в нескольких местах, главным образом над глухими селеньями, и обязательно глубокой ночью. Четырежды она появлялась над Сигоной — уже после эвакуации жителей. Здесь она однажды подожгла миндальное дерево, вслед за тем преспокойно скрывшись. В обширной, полной противоречий статье престарелый профессор-микробиолог доказывал, что единственная причина странной эпидемии — безответственное поведение пришельцев из другого мира. «То, что разбойничьи полеты неопознанного летающего объекта зафиксированы несколько позже вспышки безумия в Сигоне, — писал он, — еще ничего не доказывает. К тому же существует история, рассказанная доном Иллуминато Кеведо. Почему никто не хочет принимать его сообщение всерьез? Как бы не пришлось нам всем расплачиваться за подобную душевную глухоту».

Нашлась среди вырезок и история Кеведо. Действительно, дон Иллуминато, владелец фотоателье, поведal корреспонденту журнальчика «Ты и я» кое-что любопытное. Он, дон Иллуминато, ночевал у племянника в Сигоне за сутки до землетрясения и рано утром уехал в Палермо. Конечно, святой Джузеппе мог на

него и разгневаться, но ничего не попишешь: днем возвращалась на пароходе из Неаполя его, дон Иллуминато, жена. Уезжал он в полной растерянности. Еще бы: страдая бессонницей, глухой ночью он вышел в сад и здесь заприметил висящий в небе аппарат. Из него вылуплялись тускло светящиеся шары размером с футбольный мяч и, разносимые ветром, оседали на Сигону. Долго ли это длилось, он не помнит. В голове у него все спуталось, стали слышаться разноязычные голоса, как будто в черепной коробке дон Иллуминато включился транзистор. Он не мог двинуться с места. Когда аппарат с хвостом шаров исчез, Кеведо на ватных ногах вернулся в дом. Будить он никого не стал, чтобы его не сочли за безумца.

Сообщение Кеведо заслуживало самого пристального внимания, тут микробиолог попал в самую точку. Я достал из чемодана чистый блокнот и написал на первой странице: ПРИШЕЛЬЦЫ. ДОН ИЛЛУМИНАТО КЕВЕДО. Время для выводов еще не настало. Возможно, что-то подскажут телевизионные снимки, упомянутые Учителем. Утром они появятся во всех газетах...

Да, плох Учитель, основательно его подкосило. Как бы не пришлось увозить в Москву, думал я. Но сразу же поправил себя: э-э, нет, брат, никакая сила не заставит раньше срока вернуться его с раскопок. Ни сила, ни хитрость. Казалось, он излучал мощное поле доброжелательности, о которое разбивались любые попытки завести с ним какую-либо психологическую игру. Он и сам предпочитал прямые действия, чуждаясь обходных маневров, а тем более розыгрышей. Тогда совсем непонятно, что за загадку он мне задал, перед тем как я с ним попрощался на ночь...

5. СНЫ О СИГОНЕ

— Эона, слышишь меня: я хочу видеть летящего урода в лицо!

— Разве ты не видишь?

— Эона, как я оказался посреди ночного неба, прямо в воздухе, рядом с колпаком треугольного самолета?.. Почему я не чувствую ветра? Как я лечу?.. Почему не видно лица пилота сквозь его шлем?

— Его гермошлем отсвечивает. Меняю угол зрения и освещенность...

— Проступил профиль... Это профиль человека... значит, ты ошиблась, Эона: это не инопланетянин. Вижу у пилота и нос, и плотно сжатые губы... подо мною — огни большого города... В центре выплыл в голубых лучах готический собор. Он похож на застывшие сталагмиты. По-моему, такой же собор я видел в Кёльне.

— Это Кёльнский собор.

— Но при чем здесь Мексика и город Ларедо, если под нами — Кёльн?

— Под вами уже Дортмунд. Впереди Бремен, Киль, Северное море.

— Эона, что за сгустки шевелящейся тьмы между огнями городов?

— Места концлагерей в прошлую войну. Это здесь сдирали с людей кожу на сумочки и абажуры. Помни: сгустки не рассеются никогда.

— Почему пилот не шевелится? Он наклонился вперед, будто видит одному ему известную цель...

— Эта цель — скалы близ норвежского города Нарвика.

— Выходит, он пролетит над Данией и Швецией? И нарушит воздушные границы трех стран?

— Для атомных бомб границ нет.

— Значит, он несет атомную бомбу?

— Но бомба не взорвется, когда через семнадцать минут он рухнет на скалы Нарвика. Он не сможет нажать кнопку, ибо уже сейчас мертв. Он задохнулся еще при взлете: отказала система снабжения кислородом.

— Зона, неужели он мог полететь в другом направлении и взорвать Париж или Лондон?

— И Мадрид, и Рим, и Палермо.

— Но тогда грянула бы термоядерная война...

— А что сделал лично ты, чтобы война не грянула?

Утром, когда мы завтракали у Учителя, пришел подтянутый мужчина лет пятидесяти, светловолосый, в чуть затемненных очках. Историк и археолог Зденек Плугарж оказался первым заместителем Сергея Антоновича.

— Первый и единственный, поскольку места трех других заместителей теперь вакантны, — улыбнулся Зденек. По-русски он говорил почти без огрехов, но медленно, как бы взвешивая слова. Пока мы пили кофе, он докладывал Учителю о финансовых проблемах экспедиции, советовался по части раскопок.

— Ну, в час добрый, — сказал наконец Учитель. — До Чивиты два часа пути, будет время обо всем договориться. За меня не беспокойтесь, поработаю с отчетом. При любых неожиданностях звоните. А вы, Олег, захватите фотоаппарат: вдруг шелкнете «летающую тарелку», а? — И он хитро подмигнул.

Пан Зденек в задумчивости протер платком свои очки.

...В древности на этих просторах шумели буковые леса, и сладко звенел сахарный тростник, и мельницы рокотали на пересыхающих реках. Когда Платон наведалься в Сицилию, она, должно быть, показалась ему земным благословенным раем. Здесь вполне можно было основать его Республику — образцовое государство, где цари были бы философами, а философы — царями. Но не понял юного мыслителя сиракузский тиран Дионисий, продав его в рабство... И во времена ал-Идриси пел еще, как лесная арфа, остров и ручьи струились подобно волосам наяда. Но стоило людям, якобы для своих неотложных нужд, начать вырубку лесов, и в короткий срок земной рай обратился в каменистую пустыню. Природа, как гордая красавица, не прощает насилия: когда над нею надругались, она кончает с собой. Шахтные отвалы, зияющие пасти карьеров, затопляемые перед плотинами поймы рек с живыми лесами и их обитателями — стрекошами, прыгающими, ползающими, — это поминки по природе. Но что-то затягивается тризна на матушке-Земле. И мало кто на Западе отважится сказать честно и прямо, так, чтобы слышали господа толстосумы, пентагоновские упыри:

вы у роковой черты. Вы погружаете на дно морей продукты атомных распадов, вы спускаете в реки ядохимикаты, цинично выставя на берегах Рейна трехметровые буквы: BADEN FERVOTEN! — КУПАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО! Вы настолько напшиговали планету бункерами с оружием — и химическим и бактериологическим, — что хватит отравить всю солнечную систему, будь она населена. Не пора ли, господа безумцы, опомниться, может, попробуем столкнуться? Тему легко предложить: ЕСТЬ ЛИ НАДЕЖДА ВЫЖИТЬ?

Вот о чем мы говорили со Зденеком, когда наш пикап «феррари» нырял с холма на холм, пробиваясь на юг. Мы говорили о первой в мире карте звездного неба, начертанной резцом в римских катакомбах, на гробнице патрицианки Присциллы (весною там побывал мой спутник). О гробнице Вергилия в Неаполе, где побывал я. Об этрусках. О финикийцах. О связях древних славян с Сицилией, настолько глубоких, что в Палермо существовал даже славянский пригород, подробно описанный — во времена Владимира Красное Солнышко! — странником Ибн-Хаукалем в «Книге путей и государств». И наконец, мы заговорили об Учителе, о его будущей экспедиции в Гималаи на поиски Беловодья, куда Зденек был уже приглашен. Мой спутник легко цитировал русские и китайские летописи, даже легенды староверов из Бухтарминской и Уймонской долин, даже показания некоего Марка из топозерской обители, якобы побывавшего в Беловодье. И я снова про себя удивился таланту Учителя окружать себя людьми глубокими, многознающими, далекими от проницательства, торгашества и суеты. Казалось, как в древних житиях, он очертил вокруг себя круг, через который не могла перешагнуть никакая нежить и нечисть. Увы, о себе самом сказать такое я не мог...

— Я удивился, признаться, вашему быстрому приезду, пан Преображенский, — сказал Зденек, не поворачиваясь от руля.

— Зовите меня, пожалуйста, просто Олегом, — отвечал я и, когда он кивнул, спросил: — В каком смысле удивились?

— Видите ли, Олег, позавчера Сергей Антонович рассказал мне сон. Сначала он летел над Землей в ракете. Ракета осталась в небе. Из круглого, большого окна он увидел реку. Над рекою стоял туман. Вы один сидели на раскопанном холме. Сообщили ему, что найдена сибирская Троя. И лунный календарь на бивне мамонта. Профессор просил вас приехать в Палермо. И вот вы уже здесь.

— Совпадение. Я не верю в вещие сны. Виза была готова еще неделю назад, — сказал я, бросив быстрый взгляд на Зденека.

— Вещий Олег не верит в вещие сны. Кстати, почему Олег — вещий? Вещать — значит говорить, да? Он красиво говорил?

Минут десять я невозмутимо растолковывал ему, как на лекции, происхождение слова «вещать».

— Теперь сами решайте, каким был князь Олег, — закончил я, — прозорливым, или предсказывающим будущее, или преусмотрительным, или долгоживущим, или поучающим. Кстати, у нас на Руси вещуньей называют ворону. Например: каркала б вещунья на свою голову. Или: вещунья море летала, да вороной вернулась.

Зденек осторожно дотронулся рукою до моей руки.

— Не обижайтесь на меня, Олег. Иногда в жизни спасает только шутка. Когда увидите колючую проволоку вокруг Сигоны, согласитесь со мной.

— А когда я увижу эту проволоку? — вырвалось у меня.

— Через четверть часа. Сигона рядом с Чивитой. Точнее, Чивита над Сигоной.

Так вот отчего разъехалась экспедиция!.. Жаль, что Учитель вчера об этом не сказал. Да и я хорош гусь, вернее, не гусь, а ворона. Кто мне мешал в гостинице постоять в холле перед огромной разноцветной картой Сицилии? Надо немедленно купить путеводитель...

Чем ближе к морю, тем чаще унылый пейзаж оживлялся ползущими по склонам виноградниками, зарослями фисташковых деревьев. На Сицилии нет озимых, и желтые скошенные поля нигде не прерывались островками зеленых побегов.

Чивиту мы заметили издалека. На высоком холме обозначились полуразрушенные крепостные стены. Их зубцы подпирали голубое небо.

— Стена тянулась вокруг Чивиты примерно на километр, — объяснял Зденек. — Сейчас завернем налево, поползем в гору. Подъем довольно крутой.

Вблизи Чивита оказалась еще внушительней. Выдвинутая вперед от стены въездная башня возвышалась метров на сорок, не меньше. Мощные контрфорсы упирались в каменные блоки стен, окаймленных глубоким рвом. Когда-то попасть в город можно было только через подъемный мост. Теперь на этом месте лежали две железные балки с деревянным настилом. Я указал на них и повернулся к Зденеку:

— Представляю, каково вам было затащить сюда эти игрушки. Неужели обошлись без подъемного крана?

— Весьма просто. Наняли грузовой дирижабль и управились за два часа. Правда, до этого целая неделя потратилась на бетонные опоры.

Гулкие своды башни. Опять подъем по дороге, мощенной черными плитами. Слева развалины театра — розово-серые колонны с изящными капителями. Дальше — полукружье довольно крутых ступеней и почти разрушенная колоннада.

— Это гипподром, — сказал Зденек. — Мы откопали здесь бронзового орла. Его поднимали перед началом скачек. Нашли также алтарь Посейдона, одного из покровителей ристалищ.

— Остается раскопать бронзового дельфина, которого опускали в конце скачек, — нелепо бухнул я: мы, мол, тоже не лыком шиты по части увеселений древности.

— О, в Чивите копать да копать! — сразу оживился Зденек. — Сергей Антонович просил бросить все силы на обсерваторию, но мы пока увязли возле бассейна с цветной керамикой, он еще левее.

— Обсерватория, наверное, была на самой макушке холма?

— Это мы окончательно выясним вместе. Видите вон те разноцветные брезентовые домишки? Здесь и располагается наша злосчастная экспедиция. Половина из них теперь пустые. Советую занять сиреневый домик. Там изнутри приколоты превосходные репродукции — Рафаэль, Джорджоне, Веронезе, Брейгель.

Когда вспыхнула эпидемия, хозяин домика сбежал в свою Швецию.

— И картины завещал мне? Благодарю, — сказал я.

Машина остановилась возле домиков. Рядом стоял светло-коричневый микроавтобус. Я внес свою сумку и вернулся к Зденеку.

— Все наши на раскопе, — сказал он, потирая поясницу. Обед в двенадцать. Рабочие уезжают обедать на три часа к себе домой, в Агридженто. Таков здешний обычай. Зато трудятся они превосходно.

До обеда оставалось чуть больше часа. Мы условились, что Зденек сходит на раскоп, а я пока что подымусь на Дозорную башню, похожую на маяк.

Я долго взбирался в полумраке по стертым покатым ступеням винтовой лестницы, дважды ударившись головой о выступы. Но наверху мои усилия вознаградились. Казалось, отсюда видна вся всхолмленная Сицилия в объятиях Средиземного моря. «Перетащу-ка сюда вечером матрац и буду спать ближе к небу», — решил я. Вспомнились родные горы Тянь-Шаня, найденная и потерянная Снежнолицая, дед, ведущий беседы с деревьями и цветами, как с детьми...

— Понравились вам картины в домике? — вывел меня из задумчивости голос Зденека. Он тяжело дышал, и пот лил с него градом. — Не представляю, как в древности люди поднимались сюда в тяжелых доспехах.

— Картины приятные. Жаль, что репродукции, а не оригиналы, — протянул я. В конце концов, никто не приглашал его на башню, можно было подождать и внизу. Последовавший быстрый ответ на мою реплику убедил меня, как тонко он чувствует любую ситуацию.

— Башня очень крепкая, Олег, — сказал он. — Она не рухнет под тяжестью двоих... По дороге мы говорили о Сигоне. Вот она, слева под нами. В древности город лежал на пяти холмах. На самом высоком был храм Юпитера. Самый низкий холм занимало довольно жалкое кладбище — для нищих, рабов, бродяг. Отсюда его плохо видно, мешает западная башня.

— Где же стена из колючей проволоки?

— Проволоку с такого расстояния незаметно. Но можно различить бетонные столбики.

Увы, ни одного столбика я не видел.

— Зденек, там, за Сигоней, большая гора, — указал я пальцем. — Тоже древняя крепость?

— Гору называют Поющей. Это вулкан. Последний раз он пробуждался в восьмом веке. На вершине Поющей были причудливые скалы из туфа и песчаника. При сильном ветре с моря гора пела.

— Что значит «пела»? Почему в прошедшем времени?

— Американцы разровняли скалы, которые пели, уже лет пятнадцать прошло, — жестко отвечал Плугарж. И, видимо, прочтя на моем лице удивление, продолжил: — О, янки здесь не церемонятся. У них тут ракетная база.

Мы помолчали, слушая шум моря. Только теперь я понял, что Чивита была неприступной в полном смысле слова: стена, обращенная к морю, висела над пропастью. Я сказал о своем

открытии Плугаржу. Вместо ответа он поглядел на меня не без угрюмости.

— Ну а все же, Зденек, не с дирижаблей же сюда сбрасывали десант, к примеру, при Ганнибале?..

— Зачем дирижабль? Во все времена в любом народе находилсЯ подлец, предатель, иуда. Готовый за лишнее колечко для шлюхи, за лишний кусок сала поставить своих сородичей под топор. Стариков. Девушек. Младенцев. Так пало подавляющее большинство крепостей. Повсеместно.

— К сожалению, вы правы, — сказал я. — Для меня эти подлецы — главная загадка мировой истории. Все остальное более или менее объяснимо.

— Слишком печальная загадка, пан Преображенский. Одни подлецы продают сородичей. Другие продают просторы морей для атомных церберов. Третьи — горы для ракетных баз. Откуда у них такая прыть, такой размах в купле-продаже?

— Размах и прыть от отсутствия воображения, — сказал я. — От слепоты душевной. От ненасытимой жадности. Не видят, что ради наживы, сиюминутной выгоды губят красоту. Красоту людей. Живой природы. Да и неживой тоже достается... Скажи такому: ладно, для твоей разожравшейся прелестницы сию же минуту получишь шубу из гепарда, но учти, взамен на Земле гепарды исчезнут. Все. Навсегда. И что же? Глазом не моргнув, вцепится в шубу.

— Я думал об этом не раз, — вздохнул Зденек. — Как-то спросил хозяина нашей скромной гостиницы: «Синьор Рубини, вот вы так красочно рассказываете о своей мечте: роскошной вилле с подземным гаражом и бассейном. Представьте себе, вы можете хоть сегодня получить от нее ключи. Только в солнечной системе не станет, извините, Луны. Согласны на такое?» — «Черт с нею, с Луною, — бойко лопочет синьор Рубини. — Я над виллой фонарь на пинию повешу в форме полумесяца...»

Зденек начал спускаться, пригласив меня отобедать в красной палатке минут через десять.

...Как распутать фантасмагорию вчерашнего вечера и сегодняшнего дня? Как развязать узлы на бесконечной веревке, протянутой над Сигоной неизвестно кем в неизвестно каких целях? Надо поделиться с Учителем некоторыми соображениями, прежде всего о ракетной базе. Но пока еще все слишком неопределенно. Да и база как база. Мало ли их понатыкано по всему глобусу...

Мне снился городок у моря в долине между Чивитой и лишенной голоса Поющей горою. На пяти холмах Сигоны в неестественно тусклом свете луны чернели развалины античных строений с величавым храмом Юпитера. Других развалин я не видел. Но зато из круглого огромного окна — будто сквозь диковинный прибор ночного всевидения, позволяющий зору проникать сквозь стены, я увидел вдруг всех жителей Сигоны. Они словно покоились в глубинах мерцающих вод.

Внезапно — опять-таки во сне — над Сигоной обнаружилось нечто парящее в воздухе. Оно смахивало на великанью

шляпу. Из шляпы, как из машины для выдувания мыльных пузырей (такую машину я видел в английском фильме «Повелитель облаков»), стали вылупляться полутораметровые воздушные шары, оседающая наземь. Там, где они оседали, видение спящих людей гасло. Шары роились в потоках ночного ветра, как пузырьки в стакане газировки. На городишко сползла темнота, еле одолеваемая тонким месяцем. Шляпа исчезла. И сразу вокруг Сигоны, точно сказочный змий, поползла и замкнулась стена колючей проволоки. В миг, когда голова и хвост змия сомкнулись, от храма Юпитера к вершине Поющей горы вознеслась молния. Она опять высветила в небе лицо Снежнолицей...

Я очнулся. Немолчно свистели цикады. Дозорная башня поскрипывала и покачивалась, как будто я спал в дупле старого дуба. К берегу шествовали рафинадно-белые шеренги волн. В мертвой Сигоне — ни огня, только смутные шевелящиеся лунные тени.

Со стороны моря донесся ровный гул, словно пылесос включился. Гул постепенно нарастал. Пепельное облачко заслонило серп луны, и, когда опять просветлело, я увидел *это*. Оно висело над кипарисами, окаймлявшими причал в Сигоне. До той поры я не очень-то верил вдохновенным повествованиям о неопознанных летающих объектах, а тут и сам стал свидетелем явления необъяснимого.

Она, казалось, выпорхнула из моего сна, эта великанья шляпа, только вместо вылупляющихся шаров она выпустила тончайший фиолетовый луч. Он пробежал по причалу, уперся в чернеющее строение, скорее всего будку, куда обычно на зиму складывают пляжные зонты, лежаки и прочую дребедень, и вскоре угас. Я вцепился в каменные перила башни и не дышал. Как только луч угас, шляпа двинулась восвояси — в сторону моря, правее луны, на юг.

Я уже потерял шляпу из виду, когда будка загорелась. Языки огня выхватывали из темноты железные переплетения пляжных навесов и белые стрелы волноломов.

Что это все значит? В моем сне смешались и рассказ Иллюминато Кеведо, и эвакуация Сигоны, и лицо Снежнолицей из вчерашнего ночного виденья с балкона над заливом в Палермо. Предположим. Но при чем здесь сон, если я воочию вижу горящую будку, подожженную вовсе не молнией, черт побери! Стало быть, газетные сообщения не бред? Эти огненные языки, эти снопы искр, роящиеся и тающие в небе, — это что, галлюцинация, продолжение сна?

Я спустился с башни. На моих часах было половина второго. Зденек ничего не понял и нехотя стал одеваться. Когда я попросил его не зажигать фонарик и разговаривать шепотом, чтобы не переполошить экспедицию, он начал чертыхаться. Наконец нашарил очки и пошел за мною к пролому в западной стене.

— Скорее, пан Плугарж, — подгонял я его. — Не то все сгорит и ничего не увидите.

Будка на причале догорала.

— В честь кого такой фейерверк? — спросил Зденек и зевнул.

— По случаю моего приезда. Вы способны наконец прийти в себя? — разозлился я.

— О, ночью вы еще учтивей, чем днем, пан Преображенский, — отвечал он.

Пришлось извиниться. Потом я сказал:

— Зденек, я только что своими глазами видел «летающую тарелку». Надеюсь, вы мне верите?

— Археологи — самый правдивый народ, — сказал он. — Только, умоляю вас, в другой раз будите меня до прилета летающих, как вы выразились, тарелок, а не после. Чтобы у меня была возможность спокойно натянуть штаны.

Я снова извинился, и он ушел досматривать сон. Что ж, его скептицизм объясним. Я сам, помню, поднял как-то на смех полярного летчика, который утверждал, будто над морем Лаптевых его самолет чуть ли не полчаса был сопровождал яркочелтым сплюснутым шаром с несколькими отверстиями, причем сплюснутый менял направление с легкостью солнечного зайчика. Да, скептицизм объясним... Но эти тлеющие огоньки на причале? Как поступить дальше?

Я давно убедился, что осязуемых результатов добиваешься только тогда, когда поступаешь непредвиденно для окружающих, а порою и для себя самого. Руководствуясь лишь интуицией — и ничем более.

И я решил спуститься к мертвой Сигоне.

6. НЕНАЗНАЧЕННОЕ СВИДАНИЕ

— Эона, как выглядел бы я, будучи разумным потомком динозавра?

— Ты был бы выше на две головы. Намного сильнее. Кожа у тебя была бы сплошь зеленая. Искрящиеся красные глаза размером с куриное яйцо. Зрачки как у кошки — продолговатые. Абсолютно голый огромный, череп без ушей. Руки и ноги — трехпалые.

— И ты не ужаснулась бы моему виду? Будь я даже бегемотообразным? стрекозоподобным? тритоновидным?

— Или живым сгустком вихрей. Спиралью света, вызывающей к собратьям из других миров. Разумной субстанцией, свободно проникающей сквозь волокна пространства и времени.

— Отвечай: не ужаснулась бы?

— Земная ли галактическая, вселенская — красота едина. Она разлита, расплескана по мирозданию, как свет. Она — само мирозданье. Единство красоты, ее вечное гармоничное цветенье — незыблемый закон. Потому любая попытка посягнуть на красоту, расшатать ее устои должна быть наказуема.

От моста надо рвом спуск к морю оказался не таким уж и крутым, но длинным: мощеная дорога изгибалась плавными серпантинами. Зонты линий отбрасывали на обочину резкие изломанные тени. Говор моря все нарастал — и вот оно раскрывалось — мерцающее, живое, перекачиваемое в своих ладонях прибрежную гальку. Над Поющей горой светился, как глаз циклопа, кровавый фонарь. Я двинулся на его свет. Взлобье холма Чивиты с зубчатой стеной занимало полнеба. Когда навис-

шая надо мною громада завернула к северу и обнажился простор небес, я увидел перед собою другую стену — из колючей проволоки, с бетонными сдвоенными столбами опор. Ближе к морю на таких же бетонных столбах был укреплен квадратный щит. Подойдя к щиту, я прочел светящиеся буквы:

ВНИМАНИЕ! ЗЕМЛЯ СИГОНЫ ЗАРАЖЕНА И ОПАСНА. ПРОНИКНОВЕНИЕ ЗА БАРЬЕР, А ТАКЖЕ ВЫСАДКА С МОРЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНЫ. ОСНОВАНИЕ — ЗАКОН 19/37.

Луна вспыхивала на колючих остриях проволочного барьера. Тысячелетия равнодушная Диана обращает свой загадочный взор и на резвящихся в море дельфинов, и на сжигаемые захватчиками древние города, и на языческие купальские игрища, и на заграждения концентрационных лагерей.

Стена оказалась двойная: стальные ряды разделяло около метра.

Невероятно, но мне почудилась там, за барьером, согбенная фигура. Человеческая. Казалось, неизвестный смельчак или безумец что-то потерял, ну, скажем, мелочь из кошелька, и теперь шарит взглядом в траве, наклоняется к каждому камешку, сверкнувшему под луною.

До рези в глазах вглядывался я сквозь проволочное сплетенье туда, где медленно приближающаяся фигура обретала черты женщины.

— Эй, кто там ходит? — неожиданно для самого себя закричал я, но уже в самый миг крика осознал и всю нелепость своего вопроса, и то, что я не кричу, а хриплю, почти шепчу.

Женщина между тем приблизилась еще шагов на десять, стали различимы короткие пышные волосы и тускло блестящее свободное платье. В левой руке она держала корзиночку или квадратную сумку.

— Снежнолицая!

— Зови меня лучше Эной.

— Но тебя нет. Тебя унес сель в отрогах Тянь-Шаня.

Молчание. Она улыбалась.

— Как ты оказалась в Сигоне? Что делаешь там?

— То же, что и ты, Олег. Собираю доказательства.

— Доказательства, но какие?

— Доказательства посягновения на красоту. С необратимыми последствиями. В предсказуемом будущем.

— Что значит — в предсказуемом?

— На клочке времени, когда здесь будут прыгать крысы размером с овцу, а трехголовые рыбы ползать по деревьям.

Ее корзиночка стала прозрачной, как аквариум, и оказалась до половины заполненной обезображенной живностью: многоголовыми, скрюченными, порою лишенными конечностей тварями, ползающими, извивающимися, трепыхающимися уродцами.

Я закрыл глаза, будто один был повинен за содержимое вновь потемневшей корзинки-аквариума.

— Кому нужны эти доказательства?

— Тебе, Олег. И Галактическому Совету Охраны Красоты.

— Такое не сразу одолеешь, Снежнолицая...

— Зови меня лучше Эной.

— Пусть так: Эона. Но для меня ты — живое воплощение

Снежилицей. Не знаю, как ты вновь воскресла. Но это о тебе написаны в древности стихи, послушай:

Мне без тебя и солнце и луна
Померкли. Чем уйму слепую боль я?
Безумным вихрем ты унесена,
Любимая, из милого гнездовья.
Но не иссякла памяти струя.
В ущельях тесных
И в степях безвестных, —
Где конь крылатый, на котором я
Найду тебя среди светил небесных?

Прочтя печальные строки владыки Бекбалыка, я опомнился: что я такое несу, ведь стихи сочинены после смерти Снежилицей; девушка с пышными русыми волосами просто похожа на нее...

— Действительно, я должна тебе напомнить кого-то из близких, — сказала читающая мои мысли. — Таков замысел Галактического Совета. Подавляющим большинством голосов Совет решил, что, увидев меня, ты сразу поверишь в реальность и серьезность происходящего.

— Значит, ты, Эона... — Я замялся, подыскивая нужное слово.

— Гостя. Посланница. Посредница. Это для тебя, Олег. А для себя... Не знаю, кто я здесь. Мне кажется, для сошествия к тебе меня окружили иной плотью, как водолаза скафандром.

— А до сошествия сюда?

— Сначала меня не было, потом не станет. Как в твоём любимом афоризме о мертвых и нерожденных.

— Это не мой афоризм. Он родился здесь, на берегах Средиземного моря, в глубокой древности.

Молчание. Ее кроткая улыбка... Надо было собраться с мыслями. Слишком многое зависело от нашего разговора, хотя втайне я все еще надеялся, что все происходящее — бредни...

— Нет, не бредни, не бредни, Олег, — прозвенел колокольчик. — Разве моего лица: над заливом в Палермо, наяву, и над холмами Сигоны, во сне, — тебе недостаточно?

Что я мог возразить красавице со страшной корзинкой? Окажись там, за колючим барьером, студенистая говорящая медуза или читающая мои мысли анаконда, не кинулся ли бы я прочь, как и каждый на моем месте? О, как нам жаждалось, чтобы вестники иных миров были во всем схожи с нами, точнее, с лучшими из нас: красивы, благородны, проницательны, одухотворенны. А ежели и впрямь медузы? Бегемотообразные туши? Стрекозоподобные? Тритоновидные?

— Или живые сгустки вихрей, — продолжала она. — Спирали света, взывающие к братьям из других миров. Разумные субстанции, свободно проникающие сквозь волокна пространства и времени...

— Сгусткам вихрей и разумным субстанциям нет дела до земной красоты, — сказал я.

— Земная ли, галактическая, вселенская — красота едина. Она разлита, расплескана по мирозданию, как свет. Лишь ее светоносная сила способна удержать разгул мрачных стихий.

Единство красоты, ее вечное гармоничное цветенье — незыблемый закон. Потому любая попытка посягнуть на красоту, расшатать ее устои подлежит наказанию.

— Любопытно. Тогда почему не наказаны швырнувшие атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки? Обрушившие тысячи бомб на многострадальный Вьетнам? Те, кто в пустыне Невада подло взорвал атомную бомбу над тремя с лишним тысячами собственных солдат, заведомо обрекая их на психические заболевания и гибель от раковых опухолей? Это ли не посягновение на красоту? Знаешь, про что мне рассказал отец?

— Знаю, Олег. Его друг был в японском плену. Среди тех, над кем ставил опыты генерал Ишии Широ. Генерал проверял на живых людях воздействие химического оружия.

— На живых людях, Эона. Американцах. Китайцах. Русских. А другой генерал, Макартур, сделал все, чтобы выгородить военного преступника Широ. Почему изуверы не наказаны?

— Возвращаю этот вопрос тебе. И твоим земным собратьям, Олег.

— Эона, ты наполняешь свою корзинку — зачем? Любопытства ради? Для музея во дворце Галактического Совета?

— Для Галактического Совета. Только Совет правомочен решить, переполнилась ли чаша терпения... — Снежнолицая подняла голову. Взгляд ее скользнул надо мной. — Пожалуйста, не оглядывайся, Олег, — сказала она.

Я представил себе чашу величиной с купол неба, до краев наполненную дымящейся жидкостью, где плавали, точно в дантовом аде, чудовища, олицетворяющие пороки: зависть, насилие, ненависть, предательство, алчность.

— Ты должен знать: время от времени в вечно цветущем саду планет одно дерево заболевает. Оно может захрипеть, даже погибнуть, если ему не поможет садовник. Вредители должны быть уничтожены. Но иногда помощь приходит слишком поздно...

Высоко среди звезд передвигались вдоль Млечного Пути крестообразные зеленые и красные огни. Пассажирский лайнер? Бомбардировщик с водородными бомбами?

— Пассажирский. Авиалиния Рим — Найроби, — сказала Снежнолицая, тоже глядя на огни.

— Не понимаю вашей логики, всезнающие блюстители прекрасного. То вы собираете доказательства необратимых разрушений. То сами разрушаете!

— Мы ничего не разрушаем.

— А сжигаемые по ночам деревья! А ядовитые разноцветные шары из ваших порхающих «шляп»! Кого вы собираетесь наказывать за подобные забавы? Самих себя?

— Олег, мы ничего не сжигаем и не травим. И не уполномочены здесь кого-либо наказывать. Наказывать будете вы, когда соберете свои доказательства. — Она намеренно выделила «своих».

— Сплошной туман и пустые слова! Если не вы, то кто отправляет и сжигает? Другие инопланетяне? Не столь благородны, как вы? Плохие дяди и тети? — повысил я голос.

— Олег, успокойся, в космосе нет такой вражды, как на Земле.

— Эона, ответь прямо: кто поджигатели и отравители?

— Сами ответите, кто поджигатели и отравители.
— Когда?
— Когда соберете доказательства.
— Хватит морочить мне голову! — не сдержался я и ударил ладонью по загудевшей проволоке. Но сразу отдернул руку: она попала на шипы, из пальцев брызнула кровь. — Хватит играть в жмурки! Еще неизвестно, кто кому должен предъявлять доказательства чужой вины или собственной невинности!

— Мы тебе, Олег, поможем, — все так же приветливо говорила Эона. — Ты в любой миг можешь вызвать меня мысленно и о чем угодно спросить. Не забудь: вопрос начинается моим именем.

Я кивнул.

— Галактический Совет Охраны Красоты благодарит тебя за начальный Контакт. И просит ни с кем не делиться сведениями о Контакте.

— Взаимно, — буркнул я. — Там, среди благодетных ваших миров, особо обо мне не распространяйся... Хотел бы знать на прощанье, почему Совету было угодно или удобно выбрать именно меня?

— На твоём месте мог бы сейчас стоять любой другой.

— И на твоём?

— Любая другая.

— Занятно. Стало быть, по эту сторону мог быть и Герострат, и Аттила, и какой-нибудь подлейший Батый, и Гитлер, неважно, бывший или будущий?

— Ими и подобными им занимается другой Галактический Совет. Тебе же, Олег, повторю: на твоём месте мог стоять любой другой защитник красоты. Спокойной ночи, — сказала посланница ночи, нагнулась за корзинкой и начала отдаляться в лунной мгле.

— Куда ты, Снежнолицая?

— Зови меня лучше Эоной...

7. ДОЧЕРИ ВЕЧНОСТИ

В ожидании Антонеллы я бродил по солнечной стороне площади, напротив Галереи. Ее закончили строить при мне, когда я проходил стажировку в здешнем университете. Все три этажа представляли собою сцепление стрельчатых арок с лесом беломраморных колонн. Арки были изукрашены пестроцветной мозаикой — триумф богини земного изобилия: кистями винограда, лилиями, орхидеями, нежно светящимися, точно огоньки свечей, лимонами и апельсинами, розовоперыми ветвями миндаля. И казалось, над площадью полощутся волнующие ветром или морем сказочные восточные ковры. Внизу размещалось знаменитое на весь мир собрание древнегреческой скульптуры; выше — картины, золотые и серебряные украшения, безделушки, монеты — все, что осталось на дне промывочного ковша сицилийской причудливо переплетенной истории, начиная с первой пунической войны, когда вон там, в заливе, качался на волнах Тирренского моря весь карфагенский флот... В прохладных залах посетителей было не густо. Иностранцы обычно толпились возле шедев-

ра XV века кисти д'Антонио. На небольшом полотне из темной глубины взирала, чуть скосив карие глаза, молодая женщина в светло-фиолетовой шелковой накидке. Левой рукой накидку она слегка придерживала, а правую с растопыренными пальцами выставила чуть вперед, как бы призывая мир к тишине. Подобие улыбки затаилось в кончиках губ... Возле этого полотна мы и познакомились тогда с Антонеллой. Она училась на третьем курсе и подрабатывала в Галерее как экскурсовод. Да, многое переменилось с той блаженной поры, слишком многое. Кроме ее привычки безнадежно опаздывать...

Вчера вечером я не стал выпытывать у Учителя подробности его сна обо мне. И без того все стало на свои места. Те, кто властен выудить из человеческой памяти запечатленный там образ и одеть его плотью, не станут зря просить о неразглашении тайны Контакта. Эона сказала лучше: не одеть плотью, а разделить ею. Эона... Ее поведение позав прошлой ночью мне представлялось теперь несколько странным.

Эона... Утром я спросил мимоходом Учителя о возможном происхождении необычного имени. И лишний раз убедился, что многого, многого еще не знаю. Оказывается, в греческой мифологии Эон — неумолимое, неумаляющееся время, отпрыск Хроноса. Последователи Орфея почитали Эона как сына Ночи. Он представлялся глубоким стариком, непрестанно вращающим колесо времени. В Римской империи Эона изображали мощным старцем с оскаленной львиной головой, вокруг тела его обвивалась змея. По учению гностиков, эонами были высшие силы и духи, олицетворяющие мудрость. Вся земная история с вереницей несправедливостей и страданий составляет один эон. В дословном переводе: Эона — «дочь вечности», «вековечная»...

Из времен древней Эллады и зари христианства меня вернул настойчивый автомобильный гудок. Антонелла сидела за рулем в своей крохотной потрепанной машине и махала мне рукой.

— Чао, Земледер! Ты заслушался пения ангелов? Влезай поживее! Нельзя здесь стоять.

Она изменилась: волосы закалывала сзади пучком и слегка подкрашивала глаза. На ней были вельветовые серо-голубые джинсы и безрукавка поверх голубоватой блузки с вышитыми на воротнике цветами.

— Сегодня ты выглядишь превосходно, — сказал я и махнул в сторону Галереи. — В тон всей вашей летящей флоре.

— Благодарю за комплимент, — сказала Антонелла. — О тебе такого не скажешь. Лицо испуганное, глаза красные, как у дьявола. О, и вроде бы брюшко! При твоём росте я бы воздержалась от спагетти.

— Как дела у Марио? — сразу спросил я.

— Кажется, лучше. На следующей неделе обещают выпустить.

— Предлагаю заехать на рыбный рынок. Захватим Марио печеных креветок. Помню, он их любил.

— На рыбный так на рыбный, — согласилась она и ловко протиснулась между фургоном и тремя мотоциклистами. — На рыбный рынок с Земледером, вдруг свалившимся с небес. Помнящим только гастрономические причуды бывших друзей,

хотя пронеслось столько годков, и начисто забывшим о самих друзьях.

— Не обижайся, — сказал я и провел рукой по ее волосам. Она отстранилась. — Не обижайся. У меня есть оправдание. В виде изречения. Ты его оценишь. «Славяне плачут при расставанье и забывают друг друга, покуда не встретятся вновь». Подмечено полторы тысячи лет назад. Прокопий Кесарийский. Византийский историк.

— Я готова заплакать прямо сейчас, — сказала она. — Сицилианки плаксивы. Особенно замужние.

— Выходит, ты замужем?

— Любая уважающая себя сицилианка в моем возрасте давно замужем. Заруби в памяти: любая. А перед венчанием, примерно за полгода, уважающая себя сицилианка обязательно должна побродить ночки три-четыре по римским развалинам. В сопровождении неотразимого иностранца. Из тех, кто плачет при расставании. Она должна проводить его в небеса из аэропорта Леонардо да Винчи и тоже всплакнуть. Таков местный ритуал. Он складывался веками.

— Верно. Так прощались еще при Калигуле, — сказал я.

— Но для меня сей ритуал не означает ничего! Как чужое письмо, по ошибке попавшее в почтовый ящик! Верну не вскрывая.

И опять она отстранилась, словно я потянулся погладить ее каштановые волосы.

— Письмо письму рознь, Антонелла, — сказал я. — Хочу по ошибке получить конверт с разгадкой, например, причин эпидемии. Глазом не моргнув, вскрыю.

Тут она уставилась на меня со страхом и любопытством, точно бы я на ее глазах начал преобразаться в монстра.

— Ты, археолог, замахиваешься на эпидемию?! Толпа медиков ломает голову, включая самого профессора Боннано! Разве эпидемия мешает вам рыться в античных черепках? Что тебе до нее?

Я сказал:

— Тебе известно, что в Сигоне плодятся уродливые жучки и зверьки? Что вчера в Солунто умерло еще трое? Какое дело мне до них, допытываешься ты? Так вот. Я, Олег Преображенский, не хочу, чтобы петля затягивалась и дальше. Не хочу, чтобы искажалось лицо красоты, хоть это и звучит выпренне. Кто знает, во что выльется эпидемия? Вдруг не у одних мышей и кроликов начнут плодиться уроды? Родить сиамских близнецов хочешь?

От резкого тормоза я ударился лбом о стояк бокового стекла. Мотор заглох.

— За-мол-чи! — закричала она и отвернулась. Потом медленно тронулась с места. Пышноусый синьор из обгоняющего нас «форда» покрутил пальцем у виска, визжа, что мы самоубийцы и негодяи. Рядом с ним на сиденье лаял на нас спаниель. Когда они скрылись за поворотом, Антонелла сказала:

— Не обижайся, Земледер. Не меня находит иногда такое... Хочешь, сведу тебя с профессором Боннано? Ты должен помнить его по университету: чернобородый, под глазами мешки. Потолкуй с ним насчет эпидемии.

— Пойми: я могу заниматься только раскопками в Чивите — и больше ничем. Только раскопки.

— Я понятливая. Чем можно помочь тебе?

— Не мне, а Сигоне, — огрызнулся я. — Для начала разыщи в Палермо одного фотографа. Он величает себя доном Иллуминато Кеведо. Любыми путями попытайся узнать, как попал в прессу его рассказец про пузыри над Сигоной.

Я вытащил из бокового кармана журнальную вырезку и прочитал ее вслух. Оказывается, Антонелла помнила это интервью. В «Ты и я» у нее были знакомые, и она обещала расшибиться в лепешку.

В палате стояло коек двадцать, над каждой — крохотное деревянное распятие. Марио лежал в углу, у раскрытого окна. Антонелла наклонилась, поцеловала брата в лоб. Он долго смотрел на нее, словно не узнавая. От его блуждающего взгляда мне стало не по себе. Но еще больше — от пурпурных прыщей, рассыпанных по лицу, шее, рукам...

— Посмотри, Марио, кто приехал, — сказала она. — И привез тебе креветок.

Худое лицо Марио оживилось. Он поднялся, откинул одеяло. Мы обнялись.

— Спаситель мой приехал, спаситель, — бормотал он.

— Давайте спустимся в сад, — предложила Антонелла. — Там такой ласковый ветерок. Где твой халат, Марио?

Пока мы спускались по крутой лестнице, он несколько раз порывался меня обнять, бормоча свое «спаситель».

— Ошибаешься, Марио, — мягко сказал я. — Спаситель ходил с учениками по воде. По глади Тивериадского озера. Я же, если угодно, спасатель. Чтобы нам расквитаться, предлагаю поступить так. После твоей выписки из этого богоугодного заведения давай снова махнем на катере через Мессинский пролив. Только оступлюсь и вывалюсь за борт я, а спасать меня ки-нешься. ты. И будем квиты.

— Это невыполнимо, — сказала Антонелла. — Ведь нас застиг тогда шторм баллов шесть, не меньше, помните? Волны швыряли катеришко, как щепку, правда? Таких штормов искать. К тому же мой братец плавать до сей поры не научился, даже в штиль. Не суждено ему быть ни спасителем, ни спасателем.

— Зато из безумия в Сигоне выкарабкался, — сказал Марио, насушившись.

— Ты самый лучший в мире брат, — сказала Антонелла и поцеловала его в щеку. — Давайте присядем в тенечке, вон под той шелковицей.

...Многое из того, что рассказал Марио про события в Сигоне, я знал. Не хотелось бередить его рану, но все же я спросил осторожно:

— Долго ты пробыл в Сигоне перед случившимся?

— Как всегда. Ночь на субботу, ночь на воскресенье. В понедельник рано утром мы обычно возвращаемся в Палермо.

— Как тебе спалось в ночь на субботу? Ничего необычного не заметил?

— Да я глаз не сомкнул до рассвета, — сказал он.

— Бессонница?

— Какая бессонница? Мы до полттретьего грызлись с моей Катериной. Это бабё из Агридженто — сущие фурии! Намеренно заводят ссору, чтобы слаще после была любовь. Черт дернул жеваться.

— У нас есть такая поговорка, — сказал я, — «Неженатому хоть удавиться, а женатому хоть утопиться».

На глазах у Марио появились слезы, он схватился за голову: — О-о-о, что за вздор я плету! Бедная Катерина! Будь я трижды проклят, что не уступил ей и мы не успели помириться! О, моя голубка! Клянусь святой Розалией, едва ты выздоровеешь, я примчусь к тебе как молния! — И он замолотил кулаком по сморщенной коре дерева. Антонелла прижалась к брату, успокоила как могла.

— Спасибо, Олег, что нас опять навестил, — тихо проговорил после долгого молчания Марио и посмотрел искоса на Антонеллу. — Снова в университет?

— На раскопки древней Чивиты. Может, слышал про международную экспедицию? Из-за эпидемии кое-кто упорхнул отсюда. Вот я и примчался на подмогу.

— Чивита... — Глаза Марио преобразились. — Мальчишкой я облазил в ней все руины. На Дозорной башне мы расставляли силки на дроздов, после жарили на вертелах, возле гипподрома. Или затевали игры в пещерах, что в Поющей горе. Много их было, пещер. В них с незапамятной поры спасались от набегов с моря. Но янки прикармливали Поющую, точно какой-нибудь пустынный сувенир. Помню, как пыхтели бульдозеры, срезая вершину горы. Как янки сооружали бетонный мол. И теперь прямо с моря внутрь горы залетают самолеты. Представляешь? Будто пчелы в улей. Огромный подземный аэродром, мне Винченцо подробно описал. Святая мадонна, гору купить, целую гору! Небось думают, с такой толстой мощной можно и всю Сицилию отхватить! Аппетит у янки волчий.

Пришлось вернуться к началу разговора и снова зачитывать откровения владельца фотоателье.

— В ночь на субботу? — изумился Марио. — Крепко заливает дон Иллуминато. Никаких предметов в небе, никаких шаров не было. Мы спали на крыше сарайчика, то есть не спали, я уже рассказывал, а ругались до рассвета. Бедная, бедная Катерина!..

Я раскрыл перед Марио пластмассовую коробочку и снял вату с ящерицы.

— Не припомнишь, где раздобыл?

— Еще бы!.. Здравствуй, двухголовка! — Он нежно гладил ее по хвосту. — Ай да археолог, за собою возит мой подарок!.. Спрашиваешь, где раздобыл? У нас, в Сигоне, года за два до твоего прошлого приезда. Именно так. И за год до нашего переезда в Палермо. Погоди, надо вспомнить поточней. Вроде бы тогда весной тоже нас трясло. Помнишь, сестра?

Она задумалась.

— Ты прав, Марио. Трясло в конце апреля, но полегче. Обошлось без разрушений, не считая разбитой посуды.

— Тем летом уродцев порасплодилось — тьма. И двух- и трехголовых. Стрекозы без крыльев, змеи сросшиеся, лягушки.

Сперва я их в формалине выдерживал, потом сушил... Смотри, как сохранилась, прямо живая.

— Мы их ловили под стеной, — сказала Антонелла. — Видел, Земледер, бетонную стену вокруг Поющей? С толстыми струнами наверху?

— Говорят, по ним пропускают сильный ток, — сказал Марио. — Вот сволочи!.. Хочешь, подарю тебе сросшихся лягушек?

— Но и сейчас в Сигоне, — заговорил было я, однако, встретив яростный взгляд Антонеллы, осекся и закруглился так: — ...мы ищем серебряный глобус в крепости.

— Ты об этом уже говорил, спаситель, — сказал Марио. — Разреши, я приеду к тебе на раскопки. Вот выпишусь и приеду на подмогу. Я ж там знаю каждый камень. Разведаю сперва насчет работенки в мастерской и приеду. Я подрабатывал временно, пособия по болезни не положено, ну и, сам понимаешь, могу оказаться на мели.

— Поступай к нам в экспедицию, — предложил я. — Люди нужны на раскопках, особенно теперь. Шестьдесят тысяч лир в неделю. Правда, работа тоже временная. До конца ноября, пока не зарядят дожди. Потом снова начнем, в мае.

Антонелла сказала:

— В мае, если с вашей Землею ничего не произойдет. Все готовы разорвать друг дружку, как звери лютые.

— Не все звери, не все, — сказал я, глядя ей прямо в глаза. — Только те, кто приторговывает по дешевке чужие горы. За морями-океанами. И лишает эти горы голоса. Заодно затыкая долларами рты исконным хозяевам этих гор.

— Кучка толстосумов и рвачей еще не народ. — Она не отвела взгляда. — Если б ты знал, что творилось на острове, когда решался вопрос о ракетной базе. Забастовки, петиции, митинги. Портовики целую делегацию снарядили в Рим.

— И пока их там успокаивали, янки уже вгрызлись в Поющую клыками, — сказал Марио.

На обратном пути Антонелла молчала и хмурилась.

— Кажется, я огорчил тебя разговором о купле-продаже, — сказал я.

— Ну и что из того? — Она пожала плечами. — Я о другом. Пожалуйста, не упоминай при брате об ужасах в Сигоне. Главная трагедия у него впереди. Он не знает, что Катерины уже нет в живых...

Мы ехали берегом залива. С моря напознала черная вздрагивающая туча, отрезанная снизу, как по линейке. Под срезом далеко на горизонте громоздились циклопические башни белоснежных облаков.

— Господи, скольких унесла эпидемия, — вздохнула Антонелла.

— Поэтому ты должна узнать об Иллюминато Кеведо, — сказал я.

— Не только поэтому, — отвечала она, застыв за рулем как изваяние. — Начинаю догадываться, хотя и смутно, над чем ты ломаешь голову, Земледер.

Я спросил:

— Что это за Винченцо, поведавший Марно о подземном аэродроме?

— Винченцо Маццанти его друг. Бывший летчик. До недавнего времени был техником на Поющей.

— Значит, на базе работают местные жители?

— Человек полтораста. Техники, повара, официантки, полотеры и так далее. Девушек брали, естественно, самых смазливых. Они знают толк в амурных делах, гладкорожие янки! И покупают живой товар беззастенчиво.

— Покупают, значит, продают, — сказал я. Антонелла резко обернулась.

— Постыдись, ты бросаешься словами, как янки! Поезди по Сицилии, посмотри, как живет народ. Здесь веками царствует нищета! Ни одного детского сада на весь остров. В мастерских от зари до зари работают подростки, даже дети. Иначе семья подохнет с голоду. Уезжая после сытного завтрака из «Золотой раковины» в Чивиту, ты замечаешь небось сидящих у обочин молоденьких крестьянок?

— Они никогда не «голосуют». Наверно, ждут рейсового автобуса.

— Наивный сытый археолог! Они готовы подсесть к любому джентльмену. Даже если заплатит каких-нибудь жалких десять тысяч лир. Догадываешься, зачем их подсаживают? Чтобы свернуть в ближайшие заросли... Сколько стоит билет в кино? Правильно, четыре тысячи. А бифштекс? Умница, шесть тысяч. От шести до десяти. На базе же этим крестьянкам платили двести тысяч в месяц. Попробуй избавиться от домогательств какого-нибудь потного хряка, сразу вылетишь на обочину. О, на нашей несчастной Сицилии они способны купить все!

По стеклам забарабанил дождь. На пляже началось столпотворение: люди сломя голову бежали под полосатые навесы.

— Значит, эти полтораста человек на базе работают... — начал я, но она перебила:

— Не работают, а работали. Их всех недавно уволили. В один день. Сунули каждому выходное пособие — и под зад коленкой! Благодетели!

«Вот это улов! — подумал я. — Если к тому же окажется, что их лишили работы после землетрясения в Сигоне, то...»

— Антонелла, слушай внимательно. Как можно скорее ты должна узнать примерную дату их увольнения. Это главное. И причину. Кто и как им объяснил, что база больше не нуждается в их услугах? Переговори с Винченцо. Узнай у него поподробнее о Поющей горе. Разущи его, добудь хоть из-под земли. Но обо мне не упоминай, ладно? Парень он надежный? Порядочный?

— Порядочный и надежный. Иначе не стал бы моим мужем, — сказала Антонелла Маццанти.

Понедельник и вторник я провел в Чивите. Зданек не зря восхищался античным бассейном. Мозаика на дне — nereиды и тритоны с дарами моря — открывалась во всем великолепии. Но истинным шедевром был центральный рельеф с временами года, где по кругу изображались бесхитростные сцены мирной жизни: сбор плодов и винограда, жатва, заклепывание бочек, собирание хвороста, закалывание свиней. Среди развалин храма

Геракла обнаружили осколки еще одной мозаики, сильно пострадавшей. То была восседающая на слоне женщина со строгим взором и крутым подбородком — несомненно, богиня правосудия.

Как и наметил Учитель, я с рабочими заложил раскоп на вершине холма, рядом с Дозорной башней. Под брусчаткой пошла бурая глина, мелкие камни. Я бы и сам взялся за лом или лопату, но нарывала рука: следы удара по колючей проволоке той ночью.

Ближе к вечеру хлынул дождь. Я отпустил рабочих, лег поспать, но сразу заснул.

Проснулся без четверти двенадцать. Дождь стучал по брезенту. Хотелось пить, и я залпом опрокинул два стакана компота. Натянул дождевик. Спустился, скользя на камнях, к морю. Даже скала Чивиты не различалась во тьме. Море рокотало. Я брел наугад, пока не наткнулся на колючую проволоку.

В дождевой пелене за стальной паутиной внезапно обозначилось лицо. Я не заметил, откуда оно появилось.

— Снежнолицая...

— Зови меня лучше Эной... Что у тебя с рукой?

— Напоролся на ржавую проволоку. Заживет.

Она протянула руки сквозь паутину ко мне, и я с замершим сердцем вложил в них свою. Незабинтованные кончики пальцев ощутили ее гладкую холодную кожу.

— О, как ты жжешься, какой огонь бежит по жилам твоим! — принялась вдруг бормотать Эна изменившимся голосом. Лицо ее, как мне показалось, слабо засветилось. Она погладила бинт, и боль сразу утихла.

— Никакая ты не внучка Хроноса, и отец твой — не старец Эон. Ты — Снежнолицая!

— Немочь сонная одолела, которую ночь наважденье одно и то же. — Глаза ее полузакрылись, она крепко ухватилась за мою руку. — Аль сонной травы подмешали мне колдуны, аль зелье иное какое?.. Говорила свет-батюшке, в пояс кланялась. «Сокол ясный, не скликай женихов с четырех ветров, ни с полуночи и ни с полудня, ты отдай меня, красну девицу, за Савватия-молодца». Ай не вышло, не сладилось: посулили владыке заморскому, где ж перечить родителю стану... Ничего не скажешь, удал женишок, и умом взял, и обхожденьцем, а как стрелу калену в кольцо по-над теремом пропустил, надо рвом скача на лихом коне, — тут судьбина моя и решилась. А хозарин-то, ровно червь во рву, извивался с хребтом переломанным... Немочь сонная, наважденье, бесовский соблазн. Кто ты есть, человек, с ладонью аки огонь? Нешто стрелена ворогом? Нешто ловчая птица уклонула, егда коли охоту творил?

— Снежнолицая! — закричал я. — Не выходи за владыку, не уезжай в Бекбалык! Знаешь ли, что случится на Чарыне, горной реке? Не выходи, Снежнолицая! Я, я тебя люблю!

Она отдернула руки. Схватила за проволоку. Лицо перестало светиться, снова открылись глаза.

— Ты спрашиваешь, вмешиваемся ли мы в земные события? — сказала она чуть устало. — Крайне редко. Чтобы не исказить причинно-следственные связи в галактическом континууме. С природными силами шутить нельзя.

— Я люблю тебя, Снежнолицая...

— Зови меня лучше Эной.

В «Золотой раковине» портье вручил мне запечатанный конверт. Внутри на узкой полоске бумаги плясала ее скоропись: «Важные новости. Звони. — А. М.». Я позвонил, договорился о встрече и, заглянув ненадолго к Учителю (он все еще не выздоровел, но уже ходил по номеру), вызвал такси. По пути я разглядывал ладонь. Никаких следов нагноения. Где еще вчера зияли ярко-красные ранки с зеленовато-желтыми разводами, теперь была обычная кожа. Что еще преподнесет мне Снежнолицая, точнее, те, что стоят за ней? Каким надо обладать могуществом, чтобы выудить из моей памяти ее образ и оживить... Нет, так рассуждать не совсем правильно, ведь Снежнолицая существовала задолго до меня. Скажем так: сколько раз должно переплестись вокруг Земли кольцо времени, чтобы сон Снежнолицей там, за звездными реками Хроноса, почти тысячу лет назад материализовался здесь, у подножия утеса Чивиты, причем материализовался, как я начал понимать, лишь для меня одного... Какой прицельный взор у обвитого змеею старца с львиной головой...

Антонелла поджидала меня на прежнем месте, у «Трех лилий», но без машины.

— Мотор забарахлил у «букашки». Муж починит дня через два, не раньше. Давай погуляем по набережной, Земледер.

Она взяла меня под руку и крепко прижала локтем.

— Угадай, где я вчера была? Пари, что из десяти попыток промахнешься.

— Бывает, ничего не выходит и после десяти попыток, — сказал я.

— Ах, ах, какой остролов! А была я в гостях у самого... Иллюминато Кеведа!

— Предлагаю по сему поводу отобедать вон в том ресторанчике под пальмами. Если не ошибаюсь, он называется «Аквариум», угадал?.. Кажется, я там как-то сидел с одной пышно-волосой неприступной красавицей. В ее волосах запутывались пчелы.

— А жалишь меня ты, — сказала Антонелла.

Она всегда жила в недостижимом для меня бешеном ритме. В считанные секунды успела перемолвиться с официантом, заглянула в круглое зеркальце, лизнула мизинец и провела под глазами, причесалась, не переставая отхлебывать оранжад и тараторить:

— Представь, его координаты раздобылись в телефонной книге. Я позвонила, хочу, мол, переснять несколько своих старых фото. Он заинтересовался, когда я кончила гимназию, и ну зазывать меня в свое ателье. Я поехала не раздумывая.

— Настоящие сицилианки никогда не раздумывают, — успел вернуть я, но она и глазом не моргнула.

— Дон Иллюминато оказался молодящимся старикашкой с бородою клинышком, усиками и лысиной, замаскированной сбоку длинными волосами. Бывают такие старцы, от которых за три холма несет козлом... Оказывается, он спе-ци-а-ли-зи-ру-ет-ся — на чем бы ты думал? Съёмки обнаженной натуры,

каков дон! Теперь представь, сколько этой самой натуры у него поразвешено в ателье.

— Представил, — сказал я. — Заодно представил, как захотелось сатиру козлоному прибавить к своей коллекции парочку свежих снимков.

— Не парочку, а целый альбом. Он предложил мне позировать для рекламы парфюмерии и ювелирных украшений. «Видите ли, голубушка, фирмы оплачивают услуги красивых барышень, регулярно оставляя образчики рекламируемой продукции, — заговорила она сладким старческим голоском. — Мы их будем делить пополам. Через год мы сможем вместе слетать в Америку». Как тебе это нравится, Земледер?

Я сказал:

— И тогда ведет ее днавол на весьма высокую гору и показывает все царства мира и славу их.

— Меня не поведет и не проведет, — отрезала она. — Пожалуйста, не перебивай. Так вот. Я, понятно, отнекиваюсь, но слабо, давая понять, что в конце концов он меня уговорит. Потом присела на краешек кресла, руки у сердца сжала и промурлыкала: «Ах, дон Иллуминато! Какая жалость, что вы с вашим талантом и вашей аппаратурой не оказались в Сигоне за сутки до злосчастного землетрясения. Такое бы там наснимали — враз стали миллионером!» И пересказываю его же собственное интервью. От моего лицедейства у него глазки полезли на лоб. «Дитя мое, — бурчит дон Иллуминато, — можно, допустим, понять, почему я поставил подпись под этими бреднями и сфабриковал фото «летающей тарелки» между прочим, посредством собственной шляпы, подвешенной на шесте в саду. Все-таки мне отвалили четыреста тысяч лир — гонорар вполне приличный. Но что заставляет вас, цветущее, беспорочное существо, повторять подобную чушь, я понять не могу. Хоть убей». — «Ах, синьор Кеведо, — негодую я, — как смеете вы сомневаться в моей правдивости! Тарелку и шары я видела самолично, поскольку была в Сигоне той ночью и не спала». Тут он захохотал, вынул из бюро журнал «Ты и я», показал мне интервью со снимком, после чего принес из соседней комнаты злополучную шляпу. Подтверждаю: фальсификация. Пузыри он наложил другим негативом. «Не знаю, как вы, красавица, — сказал дон Иллуминато, — а я действительно ночевал в Сигоне накануне землетрясения и могу засвидетельствовать под присягой: небеса были чисты, как мое прошлое».

— Антонелла, сатир с безукоризненным прошлым не сказал, кто подбил его на операцию с пузырями? — поинтересовался я.

— Я не решилась на расспросы. Он заподозрил бы неладное.

— Ты права. И без того совершила почти невозможное. Не знаю, как тебя отблагодарить.

— Не уподобляйся лъстивому дону Иллуминато, — засмеялась она.

До чего же прихотлив, изворотлив женский ум! Не зря народом сказано: баба с печки летит, семьдесят семь дум передумает. На операцию «владелец фотоателье» мужчинам понадобилось бы учредить сыскное бюро, а тут молодая женщина управилась за час — и как управилась? — с блеском. Неважно, кто заплатил дону. Важно, что отпал последний аргумент: «та-

релки» появились после землетрясения. Приблизительно через две недели, милостивые синьоры судьи.

Принесли рыбное ассорти — на квадратном блюде десяток разноцветных плоских чашек, заполненных всем, что еще копошится в чаше Средиземного моря. Закуска была острая, проперченная, вареная, жареная, ее хватило бы на компанию обжор.

— Выпьем за успех твоей операции, Антонелла белла, — предложил я, поднимая рюмку.

— За пункт первый под кодовой кличкой «Козлоногий сатир». По рассеянности я выполнила и пункт второй — «Поющая гора». — Она вытащила из сумочки и протянула свернутую в трубку тетрадь. Мы выпили холодное кислое вино. Я раскатал трубку. Заглавие было подчеркнуто красным: ПРО ГОРУ ПОЮЩУЮ.

«База почти целиком внутри горы. Наверху метеостанция, радиолокаторы, площадки для вертолетов, технические службы, спортивный комплекс с двумя бассейнами, столовая, дансинг, пивной бар.

Ракеты привозят и увозят на военных кораблях (только американских!). Корабли заплывают прямо внутрь горы. Длина ракеты — около 60 метров, работают на твердом топливе. На каждой ракете — 6 боеголовок. Последние семь лет никого из вольнонаемных внутрь горы не пускают (до того пускали, но после истории с лейтенантом Уорнером перестали)...

— Что за история с лейтенантом Уорнером? — спросил я. Она подняла брови.

— У меня сведения довольно смутные. Говорят, после взрыва на складе внутри Поющей лейтенант впал в истерику. И вроде бы все вначале обошлось. Но уже днем, приехав в Палермо после дежурства, он свихнулся. Выскочил из кинотеатра и с воплями: «Ползут! Ползут!» — вскарабкался на акацию. Там он распевал псалмы, пока не сняли пожарные.

— Он жил один на базе? Или с семьей?

— Семейные там не живут. Снимают квартиры здесь или в Агридженто. В фешенебельных кварталах. Одиноким офицеры тоже предпочитают цивилизацию. В перерывах между дежурствами. Дежурят они через неделю.

— Извини, Антонелла, так и не уяснил: с семьей он жил или один? — спросил я.

— С семьей. Точнее, с женой. Когда его отправили отсюда, она тоже уехала. Больше они не возвращались.

— Не знаешь, куда его отправили?

— Никто не знает наверняка. Вроде бы домой, в Америку. Говорят, он там будто бы выздоровел.

— Стало быть, семь лет назад... Семь лет... — медленно выговаривал я, понимая, что следующий вопрос — один из главных на подступах к дьяволиаде.

— В каком месяце, Антонелла?

— В апреле. Где-то в конце. Винченцо обещал уточнить.

— Необязательно. Лучше скажи, когда их уволили.

— Наутро после землетрясения в Сигоне. Их даже не пустили за проходную. Заявили: мол, увольнение по случаю закрытия базы.

Из-за Монте Пеллегрино — Лебединого мыса — начал выползать силуэт авианосца. Над ним висели в небе два вертолета, похожие отсюда на невинных букашек.

Я думал: когда-нибудь, тысячелетия спустя, мои коллеги-археологи подымут со дна ржавый авианосный скелет и будут удивляться жестокости предков, строивших таких смертоносных бронтозавров, вместо того чтобы украсить свою Землю дворцами и садами. Впрочем, через тысячелетия от бронтозавра ничего не уцелеет: вода растворит его без остатка...

Я думал: задолго до появления человека миллионы раз оборачивалась планета вокруг Солнца, ловя губами радуг, ладонями лесов и лугов струи живительного света. Так будет вечно. Природа залечит жестокие раны, которые мы ей наносим, как вылечила мне руку Снежнолицая. Она затаит живой кожей листьев, веток, цветов даже атомные ожоги, даже химическую ядовитую сыпь. Но в этом случае не надо обманываться, синьоры: человека не будет. Хомо сапиенс — человек неразумный — исчезнет как вид. И на планете летающих деревьев, где спас от недуга фею радости уйгур Мурат по рецепту благословенного Абу-Али-ибн-Абдаллах-ибн-Сины, и в мирах, управляющих теперешним сном Снежнолицей, начертает бесстрастные мудрецы на звездных скрижалях: третья от солнца. Планетарная неудача. Тупиковая ветвь.

Я думал: но еще мы поборемся, потягаемся с тьмою, чтобы не тупиковая значилась в звездных анналах, а цветущая ветвь...

— Земледер, очнись, — услышал я голос Антонеллы. — Ты, кажется, шепчешь стихи. Жаль, я не понимаю по-русски... Что еще ты хочешь от меня?

— Уточнить одну деталь. Помнится, по пути от Марио ты говорила, будто Винченцо уволили недавно. Выходит, он работал еще месяца два после общего увольнения? Не кривись, пожалуйста, можешь и не отвечать.

— Повторяю: их всех вышвырнули скопом. Муж не хотел меня огорчать, потеряв такую работу... Кстати, Марио завтра выписывают. Я ужасно рада.

— Передай, что он может приступать к работе у нас хоть завтра же, — сказал я. — Ездить туда и обратно будем вместе. При желании в Чивите есть где заночевать. Может, Винченцо тоже захочет к нам?

— Милый мой Земледер. — Она накрыла рукой с коротко стриженными ногтями мою руку. Ее рука была горячая, вздрагивающая, и я невольно вспомнил мраморный холод длани Снежнолицей.

— Хватит с тебя забот по части Марио, брат археолог. Пусть мой супруг ночует дома. Рассуди сам: что делать на раскопках бывшему летчику?

— Антонелла, почему «бывшему»? — удивился. — Он в отцы тебе годится, что ли?

Она смутилась и ответила с видимым усилием:

— Не ладится у него со здоровьем. Ходил на днях наниматься — не взяли, даже рекламировать стиральный в небе порошок. Видел, ползает по утрам над заливом крохотные биопланы? Полная отставка. Недостаточная наполняемость мозго-

вых капилляров — и это в тридцать лет! Врачи ему нагло врут!

Чтобы ее успокоить, я налил рюмки до краев и сказал:

— Переквалифицируюсь в летчики и буду возить в небе твой портрет. Да не убывает красота сицилианок!

Она жалко улыбнулась.

— Спасибо, Земледер. Ты сильно изменился. Стал такой важный, загадочный. О чем-то думаешь, думаешь, беспрестанно переспрашиваешь. — Она сдвинула брови и, почесывая указательным пальцем кончик носа, спросила похожим голосом с придыханием: — Антонелла белла, это случилось семь лет назад?

Я рассмеялся.

— Милый мой, какая разница, когда помешался Уорнер...

— Разница немалая, — ответил я как можно тише. — В ап-реле взрыв на базе, летом у стен базы вы с Марио ловите уродцев. Докатилось?

— Признаться, не докатывается.

— Через семь лет землетрясение в Сигоне, а через несколько недель там начинают копошиться обезображенные твари.

— Но в таком случае надо немедленно...

— Не повышая голос, Антонелла! — одернул я ее. — Все это пока еще предположения. Нужны веские доказательства.

Тут я подумал, что уподобляюсь Эоне, и замолчал. Молчала и Антонелла, глядя сквозь меня. Медленно раскручивающийся вал кошмара увлекал нас за собою ввысь, к холоду мертвых вечных снегов, но скоро, скоро начнется соскальзывание в пропасть, в немолчно ревущие воды, сумеречные и злобные...

— Пока что, Антонелла, уродство затронуло кроликов, мышей, ящериц, жучков-паучков. Одним словом, наших сводных братьев по живой природе. Плюс эпидемия безумия у людей, так сказать, уродливое вырождение разума, повреждение духа. А вдруг повредится и плоть?

— Что ты хочешь этим сказать? — мертвым голосом сказала Антонелла.

— Не сказать, а спросить. У работавших на ракетной базе рождались когда-либо уроды?

По лицу ее пробежала судорога. Она закрылась ладонями, как от удара.

— Только не это! Нет! — выдохнула она. — Нет, не смеешь, живодер! Лопатой, скребком в чужие души не смей! Ройся в своих черепках, в трухлявых свалках, но нас, живых, не трогай! — Она схватила сумочку, перескочила через подоконник, побежала по набережной, натываясь на испуганных прохожих.

А я еще долго сидел за столом, под учтивыми взглядами ко всему привычных официантов... Вал надвигающегося кошмара... Медленно раскручивающийся вал.

8. ПОЮЩАЯ ЧЕШУЯ

— Антонелла, пожалуйста, послушай меня!

Частые гудки. Она бросала трубку при первых звуках моего голоса. Попытаться найти ее дома и объяснить? Сицилия не то место, где наносят визиты без приглашения.

На третий день после ее слепого бегства по набережной я обнаружил в баре «Золотой раковины» Марио. Он дожидался меня еще с обеда, успев справиться с бутылкой виски. Черная щетина на впалых щеках. Невидящий взгляд исподлобья. «Вот и узнал про смерть Катерины», — сразу подумал я и повел его к себе.

— Ты что натворил с Антонеллой? Почему она плачет с утра до вечера? — угрюмо спросил. — Ты, орел залетный, забыл кое-что. У нее есть муж. И брат. Как поступают у нас с невежливыми кавалерами, знаешь? Без учета прошлых заслуг, спаситель.

Стоило большого труда усадить его в кресло и успокоить.

— Марио, я сам ничего не понимаю. Единственное, что я натворил с Антонеллой, — это поинтересовался, не рождались ли уроды в семьях вольнонаемных, на американской базе. Не предполагал, что примет так близко к сердцу. Извини.

Он попросил еще выпить. Я налил полфужера клюквенной водки, он залпом опрокинул, закашлялся. После сказал, уже не так зло:

— Допустим, не моя, а твоя сестра дважды рожала бы увечных. Ты как бы себя чувствовал, спаситель?

Уроды от Антонеллы? Ее красота, выпестованная в колыбели времени красою неба, моря, гор и лесов, ее красота, сама, как мне казалось, подчиняющая законам прекрасного облик земных просторов, разве может ее красота соскользнуть в бесформенное, безобразное? Если природа начинает самоистязанье, то почему? Или: за что? Ее красота... И тут я опомнился, ощутив, что начинаю думать об Антонелле как о Снежнолицей.

— Твоя сестра не говорила мне о детях, поверь, — сказал я.

— Кто захочет хвастаться сросшимися мертвыми близнецами? Или младенцем, круглым как шар, с лапами бегемота. Он родился четыре года назад... Антонелле сказали, будто тоже мертвый. Но он жив! Он в интернате на Монте Пеллегрини. Я туда заглядываю иногда. Вожу леденцы. Его зовут Колосс, он начал говорить в полгода и своими вопросами хоть кого поставит в тупик. Но как он ужасен, святая мадонна! Ты бы заплакал, посмотрев на него.

— Хочу посмотреть на него, — сказал я.

— Когда?

— Допустим, сегодня же. Возможно?

Он задумался, потом сказал:

— Время удобное. Начальство интернатское уже отбыло. Но зачем тебе это, спаситель?

— Затем же, что и тебе, — ответил я.

Мы спустились вниз. Я взял в баре две коробки шоколадных конфет. Усадил Марио в машину. Завернул к бензоколонке. Тени кактусов и пиний частоколом подпирали дорогу к Лебединому мысу. Острия теней целились в темно-синий залив с пышными кружевами волн. Открылась рощица низкорослых дубов, мы завернули в нее, съехав с асфальта. Вскоре петляющий проселок взбежал на крутой холм, откуда я увидел железную высокую ограду, всю увитую виноградными лозами, а за оградой — двухэтажное серое строение с зарешеченными окнами.

По совету Марио я остановился на холме и дальше пошел пешком. Марио остался в машине. Он не хотел показы-

ваться пьяным на глаза старшей сестре, которая, по его словам, отличалась свирепостью.

Возле ворот я трижды нажал фарфоровую кнопку звонка. Через некоторое время из интерната показалась величественная дама в белом с высоко взбитыми рыжими волосами и прошествовала ко мне.

Да, среди ее питомцев есть ребенок супругов Маццанти. Да, свидания возможны, но не чаще одного раза в месяц, и только с близкими бывшими родственниками. Я заметил, как она подчеркнула: бывшими. Да, она передаст эту замечательную коробку конфет Колоссу и сердечно поблагодарит синьора за другую коробку, предназначенную ей, однако принять столь ценный подарок не может, если синьор не возражает, она разделит конфеты поровну, между питомцами, которых любит всех одинаково, независимо от внешнего вида. В чем особенности их внешнего вида? О, синьору ничего не скажут, к примеру, такие слова, как стернопаги, краниопаги, ишиопаги или торокопаги. Все они означают сросшихся близнецов: черепами, тазобедренными суставами, грудью, животом. Но что из того, что у кого-то вместо носа хобот или вместо ног хвост? Господь в каждого вложил душу, каждый достоин милосердия, сострадания, любви и, синьор прав, сожаленья. Хотя относительно сожаленья у нее свой взгляд. Знаменитые сиамские близнецы жили до 63 лет, причем у каждого были вполне нормальные дети. Двор короля Якова в Шотландии потешал человек с двумя головами и четырьмя руками: обе половины прекрасно музицировали, говорили на многих языках, что не мешало им иногда ссориться. Или американка Милли-Христина, ишиопаг, она прославилась на весь мир под именем двухголосого соловья, обладая волшебным контральто и не менее волшебным сопрано... Каков из этого вывод? Еще неизвестно, кого следует больше жалеть: ее питомцев или нынешних молодых — нор-маль-ных — хлыщей, предающихся пьянству, наркотикам, разврату. Лично она жалеет об одном: ее питомцы редко доживают до совершеннолетия. Впрочем, синьор, преподнесший столь дорогие конфеты и столь живо интересующийся вопросами... э-э... отклонения от норм, мог все узнать и у себя в Неаполе, он, судя по выговору, родом оттуда. В Неаполе тоже существует подобный интернат. Раньше там была богадельня, но после эпидемии семьдесят третьего года — о, синьор, верно, помнит эту эпидемию, она разразилась из-за употребления в пищу моллюсков, отравленных сточными водами, — власти вынуждены были открыть подобный интернат. Поди уйми этих промышленных воротил, проныр, акул, думающих лишь о наживе, хотя бы тот же концерн Монтэдисон. Просто безумие: сбрасывает в море ежегодно три тысячи тонн ядовитой дряни... Читал ли синьор в прошлом номере «Панорамы» статью знаменитого океанографа Кусто? Да, да, за всем в мире не уследишь... Этот Жак-Ив Кусто заявляет, что Средиземное море уже наполовину мертвое. Через несколько десятилетий в нем останутся одни бактерии, как в грязной вонючей луже. И он, видимо, прав, синьор. Недаром даже здесь, на Сицилии, после шторма на берегу столько дохлых рыб... Откуда ее питомцы? Большинство из Сигоны. Несчастный городишко, синьор, конечно, знает и про тамошнюю эпидемию. Только господа богу ведомо, кто наложил

проклятье на Сигону... Но она слишком увлеклась разговором, через сорок семь минут ужин, и она желает синьору приятного возвращения... Где сейчас питомцы? Их вывели перед ужином подышать свежим воздухом, и т, за ограду никогда не выводят, они в детском городке, вон под тем развесистым дубом... Храни вас провиденье, синьор...

Она удалилась, неся коробки перед собою торжественно, почти на вытянутых руках.

Сигона! Стрелка вселенского компаса, поколебавшись, в очередной раз уперлась в город, сжимаемый стальным удавом, и еще одно виденье начало проступать на стенах чаши терпения.

Чтобы не вызвать лишних подозрений, я зашагал по дорожке обратно, затем резко свернул и начал пробираться сквозь заросли по направлению к детскому городку. Случайно угодил в ручей — по самую щиколотку. Вот и решетка, почти невидимая под виноградными листьями.

...Они облепили качели, копошились в песочнице, прыгали через веревочку, смеялись и ссорились, жевали травинки, разглядывали цветы и жуков. Стернопаги. Одноглазые циклопы. Хвостатые сирены. Ишиопаги. Будто бы на картинах Брейгеля или Босха, я увидел существ с плотью скрюченной, искореженной, обезображенной в незримых кривых зеркалах, и, если впрямь ужасное отличается от безобразного на величину страдания, я не почувствовал отличия. Я ужаснулся безобразию и отвел в сторону глаза.

Рядом со мною, на начинающей ржаветь решетке, застыла зеленовато-желтая ящерица с голубым горлом. Одноголовая. Никем и ничем не изуродованная. С четырьмя лапками, оканчивающимися пятью пальцами. С двумя продольными бороздами вдоль тела, сплошь покрытого округлыми чешуйками. Как ослепленный Одиссеем великан Полифем тщательно ощупывает овец, прежде чем выпустить их из пещеры, так и слепая природа миллионы лет плодит живых тварей, соблюдая строгое подобие в каждом виде и роде, в каждой экологической нише: и эта ящерица ничем не отличалась от той, чей отпечаток я обнаружил близ Бекбалька, среди отложений мезозойской эры. Время от времени она выстреливала тонким язычком в еле заметных мошек, и тогда я слышал нежные шелестящие звуки, как будто пел под ветром тростник... Но нет, звуки издавала не ящерица, они просачивались оттуда.

Я снова посмотрел сквозь виноградные листья. Ко мне медленно приближался шар на вздутых трехпалых лапах, увенчанный шаром поменьше — головой без ушей и волос. Оба шара сплошь были унизаны роговой переливающейся чешуей. Из коричневого балахона торчали ручки — такие же короткие и трехпалые. При каждом его шаге чешуя издавала звуки, которые я и принял за пение ящерицы или тростника.

Он остановился возле ствола молодой агавы, в трех шагах от меня, и тихо сказал:

— Я вижу тебя сквозь виноградные листья. От меня никто не спрячется. У тебя тоже одна голова. Что ты здесь делаешь?

И сразу припомнилась мне Сигона, и та ночь, и красный огонь на Поющей горе, и тень, собирающая в корзиночку страшные дары Земли. И ответил я — тоже негромко:

— Я жду.
— Кого ждешь?
— Того, кто задает трудные вопросы.
— Как его зовут?
— Колосс.
— Я, я Колосс! — обрадовался он и похлопал себя лапкой по балахону.

— Знаю. И готов тебе отвечать.

— Говори еще тише. Чтобы не слышала тетка Франческа, видишь, она дремлет под зонтиком. Не то прогонит меня отсюда. Да еще накажет: задернет занавеску на окне и не разрешит смотреть ночью на звезды. Ответь: зачем смотрят на звезды?

— Они красивые. Они летают в небе как светляки. Только очень высоко. Их очень много, не счесть.

— Пожалуйста, не шути со мною. Я не глупая сирена Юдифь и не придурковатый циклоп Бруно. Я — Колосс. Я знаю, что звезды — это шары плазмы, гравитационный конденсат из водорода и гелия. Они рождаются, живут и умирают, как все во Вселенной. К старости они становятся или нейтронными звездами, или белыми карликами, или «черными дырами». Существуют понятия: звездная эволюция, звездные подсистемы, звездные каталоги — древнейший составил Гиппарх, шкала звездных температур и так далее. «Очень много», «не счесть» — это не ответ. Невооруженным глазом на Земле различают около двух с половиной тысяч звезд до шестой звездной величины, главным образом вблизи обода Млечного Пути. Ответь: на скольких из них может существовать жизнь?

— Я слышал, что в нашей Галактике около миллиона цивилизаций, — не слишком уверенно сказал я. — Жизнь вездесуща. Как семена земных растений разносятся ветром на тысячи километров, так и микроорганизмы — с планеты на планету, от звезды к звезде.

— Допустим, ты прав. Они действительно переносятся. Кометами, метеоритами, давлением звездного света. Но знаешь ли ты, какую дозу рентгеновского и ультрафиолетового облучения получают они в таких путешествиях? В десятки тысяч раз больше смертельной. Поэтому вероятность подобной панспермии равна нулю... Даже если предположить, что жизнь самозарождается, то и тогда шанс для появления разума ничтожен.

— Однако на Земле разум появился, — слабо отозвался я.

— В условиях исключительных. Жизнь возникла в океане, впрочем, океан вполне представим на любой другой планете. Технологическая же эволюция возможна лишь на твердой почве, и потому морские животные выползли на сушу. Но до этого лунные приливы научили их дышать! Согласись: подобная планетарная ситуация исключительна. Кто поручится, что мы не одиноки в Галактике? Почему молчишь?

— Мы не одиноки, Колосс, — сказал я.

— Ты имеешь в виду загадочные сигналы пульсаров? Всплески радиоизлучения Юпитера на дециметровых волнах? Упорядоченные пики рентгеновского излучения из космоса при временной развертке? Будем придерживаться презумпции естественности, пока не докажем обратное. Но ответь, если больше не у кого спросить в целой Галактике: кто я тебе?

— Ты мой брат, — сказал я. — Брат по разуму.
— Скажи, я красив?
— Ты красив. Все живое красиво. Красивы облака, ящерицы, собаки, агава, под которой ты стоишь, листья и кисти винограда, перевившего решетку.

— Тогда почему я не кисть винограда? Не агавы? Не облако и не собака?

Я молчал.

— Почему я хочу стать таким, как ты или как тетка Франческа? Почему ты не хочешь уподобиться мне?

— Видишь ли, все мертвое и нерожденное пребывает в небытии, а живое изначально классифицировано на... — заговорил было я, но осекся, когда понял страшную глубину его вопросов.

— Потому что я урод! Я и проклиная твою волю и твою Землю за то, что я урод... Хочешь, скажу, какого вопроса ты больше всего боишься?

— Я ничего не боюсь, Колосс.

— Боишься! Боишься, что я мог бы оказаться твоим сыном! Но я не твой сын. Я брат твой, уродливый твой брат. Ты сам это признал! Зачем ты позволил явиться мне из небытия в столь непригожем обличье, брат мой? Ты открываешь на планете все больше интернатов для существ, подобных мне, а ведь большинство подобных мне калеки еще и умственно. Зачем ты скрываешь правду о нас от себя самого?

— Я ничего не скрываю, брат мой Колосс, — сказал я.

— Жаль, что тебя не могут наказать братья из других галактик, — сказал он. — За то, что ты губишь прекрасное. За то, что труслив, жесток, сластолюбив. За то, что бросаешься фразами о мертвых и нерожденных, не вникая в их смысл.

— Коло-о-осс! — раздался голос тетки Франчески. — Опять ты сам с собой разговаривал. Иди, малыш, сюда.

— Пожалуйста, навещай меня почаще, брат, — сказал Колосс.

Он повернулся на лапах-коротышках и затопал прочь. И нежно зашелестел тростник.

Я кинулся было бежать, но пальцы вцепились в решетку, заостенели. И тогда от бессилья, от боли в сердце, раздувающейся, будто футбольный мяч, я принялся трясти решетку. Я представлял себе исполином, вознамерившимся расшатать корабль земной, сбить с привычного пути.

— Де-е-ти! Пора на ужин, уже смеркается, — услышал я снова Франческу. — Кто мне не верил, что по вечерам на охоту выходит дракон? Слышите, как он трясет решетку...

9. НОЧНЫЕ ОБОРОТНИ

Древние индусы верили, что Вселенная дышит как живое существо. При вдохе — а он длится свыше сорока миллионов лет — мир переживает четыре состояния, каждое со своей мерой добра и зла, — так называемые юги. Критаюга — золотой век: торжество гармонии, блаженство, невысыхающие родники и деревья, изобилие земных плодов. Во время Третаюги четверть добра умалывается, людям приходится браться за ремесла, воз-

дельвать пашню, отражать набеги хищных зверей, в том числе и двуногих. С наступлением Двапараюги чаша справедливости освобождается наполовину: все вынуждены бороться с болезнями, наводнениями, междоусобицами. Наконец, чаша пуста: грядет Калиюга, несущая голод, печали, жестокость, страх.

Да, дышит Вселенная, скажем и мы, она вечно жива, но ее жизнь, как и жизнь ее крохотной родинки Земли, скорее напоминает развитие младенца — от беспомощного сосунка до Одиссея, многоопытного мужа. И даже самые закоренелые оптимисты не рискуют уже ссылаться на златокудрое прошлое нашей цивилизации, как на обитель молочных рек и кисельных берегов. Кому ж неясно, что первожители скорлупки земной были стиснуты похлестом сил гравитации трудностью примитивного существования, борьбу с кознями природы?

Не было его, золотого, увы... Хотя и донныне жизнь каждого из нас разделена светлыми и темными кругами. Но то, что здесь, на Сицилии, мы попали в Калиюгу — сомневаться не приходилось. Загадочно одаренный урод Колосс лишь одно из печальных тому свидетельств. О, страшно уродство! Но еще страшней уродующие, хотя, как ни странно, зло не всегда таится лишь в них.

В той же Индии Учитель побывал на уличном представлении «паука» — юноши со скрюченными тонкими руками и ногами, иссохшим крохотным туловищем и огромной головой. Слепой дервиш рассказал Учителю: «пауков» уродуют еще младенцами, чтобы в дальнейшем родные могли на подаяние от представляний хоть как-то сводить концы с концами. «Паук» кувыркался, лазил по канату, пугал детей голосами пантеры, тигра, дракона. Но то было лишь началом чудес. «Паук» взобрался на пальму и оттуда до поздней ночи читал наизусть «Рамаяну». Говорили, он мог прочесть без сна за две недели все семь книг древнего эпоса — 24 тысячи строф. Но и это что! Безобразный юноша, сидящий на дереве, знал дословно и «Бхагавату», которая немногим меньше «Рамаяны», и «Махабхарату» — сто тысяч строф!

Кто же виноват, что его так изуродовали? Родители? Обливаясь слезами, они пошли на преступление, чтобы спасти от голодной смерти многочисленных сестер и братьев «паука». Виновата социальная система, общество. Но и оно все еще не может оправиться от последствий колониального разбоя английских джентльменов удачи. В конечном счете юноша-«паук» — это их детище, так же как и существо Колосс — детище спрута заокеанских и местных монополий, убивающих, уродующих все живое на некогда благословенных берегах Средиземноморья.

Когда это началось? С незапамятной древности, когда ссылали рабов подыхать на серные рудники. И во времена Возрождения в Неаполе умирали кожевенники и красильщики, не дожив до тридцати. И в начале нашего века большинство печатников уносила чахотка — бич всех, кто дышит свинцовой пылью. Но чтобы огромная страна вознамерилась отравить другую страну, а потом, когда аппетит разыгрался, другой континент, — такое в истории цивилизации случилось лишь в наше время.

Даже немногие выписки из журналов и газет, бывших под

рукой Учителя за время его болезни, кого угодно должны навести на тревожные размышления. И прежде чем ознакомить меня с одной гипотезой по поводу кошмара в Сигоне, надобно, чтобы я ознакомился с выписками.

— Учитель, вы ничего не упомянули про войны, — сказал я. — Больше всего уродует война.

— Полегче с такими афоризмами, Олег, — нахмурился Учитель. — Даже лишившийся рук и ног в битве с захватчиками никакой не урод. Он герой, под стать героям древнерусского эпоса... А эпос моей войны не пересказать до конца жизни.

«Около 60 тысяч американцев — ветеранов войны во Вьетнаме уже не сомневаются, почему они ушли на фронт здоровыми, а вернулись больными. Каждый из них стал жертвой «оранжевого реактива» — «эйджент орандж». И у большинства впоследствии родились дети-калеки...

«Более полутора миллионов жителей Вьетнама оказались жертвами химической агрессии США. Американцы варварски уничтожили 44% тропических лесов и 40% посевных площадей...»

«14 марта 1968 года в Скалл-Велли (штат Юта) от нервно-паралитического вещества ви-экс пало 6 тысяч овец. В 30 милях от Скалл-Велли расположен армейский полигон Дагуэй — центр испытаний химического и бактериологического оружия...»

«Мы располагаем достоверной информацией из Лахора, что там американские биологи, нанятые ЦРУ, испытывают под видом борьбы с малярией наркотический препарат «антибе». Обработанные им 11 подопытных пакистанцев лишились рассудка...»

«Объединенный комитет начальников штабов хотел бы иметь в своем распоряжении 5 миллионов единиц химических боеприпасов. Если всеми имеющимися отравляющими веществами начинить боеприпасы, их общий вес составит около 300 тысяч тонн. Для сравнения: нынешние запасы обычных боеприпасов вооруженных сил Соединенных Штатов в Западной Европе достигают примерно 500 тысяч тонн...»

...Заметив, что я дочитал последний листок, Учитель попросил меня подсесть поближе к карте...

— Легко представить, насколько все серьезно, — сказал он.

— Вы правы, Учитель, представить легко. Да нелегко понять: покушаясь на старушку Европу, они что же, надеются отсидеться за океаном?

— У этих господ иная логика. Им что Вьетнам, что Европа, что Америка — наплевать. Для них всегда найдется уютный островок близ экватора или ранчо в неприступных горах, где они будут поживать от забот мирских, купаясь в чистой воде и вдыхая неотравленный воздух. Тому, кто не побывал в Америке, страусиную тупость толстосумов не уразуметь. На моих глазах эвакуировали целый поселок на канале Лав, рядом с Ниагарой. Оказалось, в знаменитый водопад десятки лет спускали ядовитую погань. Естественно, рождались уроды. Как вы думаете, Олег, сколько в Америке мест, где хранятся опасные для жизни ядовитые отбросы?

— Хотел бы взглянуть на каждую такую свалку, — сказал я.

— Жизни не хватит. Свыше тридцати тысяч! Теперь понимаете, как нужен этим монстрам городишко Сигона?..

...Да, пока Учитель болел, он не терял времени даром. Он проанализировал все случаи появления «летающих тарелок» — и выявились закономерности пугающие.

Во-первых: когда места их появления были соединены прямыми линиями, образовался причудливый лепесток с осью симметрии, проходящей вблизи Поющей горы.

Во-вторых: визиты наносились в интервале от двух до четырех часов ночи, по средам, субботам или воскресеньям.

В-третьих: после объявления в газетах о прибытии на Сицилию военных патрульных катеров незваные гости перестали появляться в этой зоне (за исключением случая с сожженной будкой на причале в Сигоне).

Я согласился с Учителем, что никакой инопланетной логикой здесь и не пахнет. Закономерности были вполне земные. Ясно, что «тарелки» свили себе гнездышко под крышей американцев. И горючее в их двигателях не звездная плазма, а что-то попроще: причастность Поющей к оси симметрии, вероятней всего, объяснялась ресурсом горючего...

— Если гипотеза подтвердится, Олег, надо, чтобы об этих оборотнях узнала вся Сицилия, — сказал Учитель.

— Узнает весь мир, — ответил я. — Что касается Сицилии, то здесь не любят, когда оскверняют святыни. При мне зарезали пьяного скандинава, отпустившего непристойную шутку по адресу статуи святой Розалии...

По пути к Марио я заехал в небольшой магазин оптики, попросил показать бинокль ночного видения и особо чувствительную фотопленку. Владелец магазина заулыбался, засуетился: он превосходно понимает, что именно мне нужно, поскольку с подобными просьбами к нему частенько обращаются клиенты, те, которым обычно за шестьдесят. Но, разумеется, бывает, что и молодые мужья хотят заполучить достоверные свидетельства своих опасений по части времяпрепровождения жен... Нет, нет, он далек от каких-либо намеков в данном случае и охотно предложит требуемые товары даже с пятипроцентной скидкой из-за симпатий к молодому синьору из Неаполя. Проявлять пленку следует в особом реактиве, разумеется, он тоже положит его в этот прекрасный фирменный пакет. Арриведерчи, синьор, до свидания...

Проходясь с Марио по волнолому, я посвятил его в свой план относительно незваных гостей.

— Ну, сволочи! — Он погрозил кулаком. — Олег, зачем им такой маскарад?.. Скажи, почему мир разваливается на глазах? Откуда эти «тарелки», смерти, уродства? Почему они сыплются как из рога изобилия именно на меня, на мою семью?

— Не только на твою семью, Марио.

— Ты прав. Знаешь, я еще вчера понял, в интернате: останься в живых моя Катерина, она тоже могла бы родить мне... — Не договорив, он закрипел зубами.

— Марио, ты не хуже меня понимаешь, где этот ядовитый рог изобилия. В Поющей горе.

— Мы их выведем на чистую воду, этих ублюдков! Ребята-портовики из местного отделения компартии уже ведут расследование. Хоть неделю буду сидеть с фотоаппаратом, все равно подстерегу. Не бойся, не засну. После ее смерти вообще не сплю по ночам.

Я сказал после молчания:

— Не забудь: как можно ближе к Поющей.

— А если засесть прямо на базе?

— Разве ты альбатрос или голубь?

— Помнишь, говорил тебе, там прошло мое детство. Не все пещеры утрамбовали или залили бетоном. Кое-какие остались. Я знаю потайной ход на базе. Мы лазили раньше туда и добывали разные диковины: старые колеса от вертолетов, разноцветные стекла от сигнальных фонарей, иногда недоеденную банку тушенки. Как-то приволокли целый парашют. Вся ребятня Сигоны ходила в рубашках из парашютного шелка.

— Спасибо, Марио. Ты один можешь помочь многим. Очень на тебя надеюсь, — сказал я.

— Можно не в одиночку? — спросил он. — С Винченцо. Со всем замаялся парень. Стал как загнанный конь.

— Вдвоем так вдвоем, — сказал я. — Тебе видней.

— Учти, он служил там на аэродроме, знает все ходы и выходы.

— Только не говори Антонелле, пожалуйста. Жду вас с охоты в гостинице или в Чивите. Но — предельная осторожность. Желаю удачи!

«Минувшей ночью один из дежурных карабинеров полицейского участка на окраине Палермо вышел подышать свежим воздухом. Было без четверти три. Спокойный ветерок качал ветви жасмина. Взглянув на низко висящую над заливом бледноватую луну, карабинер вспомнил, что забыл в автомашине термос с кофе и бутерброды.

В тот самый миг, когда он открывал дверцу «джи́па», над полицейским участком появилась «летающая тарелка». Она издавала явственно ощутимый гул. Карабинер различил ее контуры и запомнил, что на ней (или в ней) не светилося ни огонька.

Дальнейшее разворачивалось по давно известному всем сценарию. Узкий фиолетовый луч уперся в крышу управления, скользнул по окнам. Вспыхнули занавески, обои и синтетические ковры.

— Паолино, мы горим! — услышал карабинер крик перепуганного напарника.

Между тем на глазах ошеломленного Паолино «тарелка» стала удаляться к центру города. Неизвестно почему Паолино пришла в голову мысль, что она собирается спалить главное полицейское управление острова, он незамедлительно доложил об этом по телефону оперативному дежурному и получил выговор за пьянство на дежурстве.

Однако летучая стервятница не добралась до полицейского управления. Она зависла неподалеку над площадью Свободы.

Когда бронированный фургон с карабинерами ворвался на пло-

щадь, «тарелка» спокойно опустилась возле статуи. Из «тарелки» показались три фигуры, вооруженные подобием минометов или даже лазерных пушек. В создавшейся критической ситуации истинным героем выказал себя лейтенант Корделли. После его прицельной автоматной очереди один из трех налетчиков рухнул наземь, а два других сцепились друг с другом и начали кататься по асфальту с невнятными выкриками. Скрученные карабинерами, они незамедлительно были доставлены в главное полицейское управление острова. Вокруг «тарелки» выставлено охранение. На случай непредвиденного развития событий неопознанный летающий объект прикован цепями к двум тяжелым грузовикам.

Чем кончатся эти невероятнейшие события? Кто они, ночные налетчики?

Прямой телевизионный репортаж с площади Свободы начнется примерно в полдень. Группа наших специальных корреспондентов собирает материалы для вечернего выпуска».

Я через три ступеньки взлетел по лестнице к Учителю, сунул ему газету с мутным снимком чего-то округлого рядом со статуей Свободы и, прохрипев: «Читайте, читайте!» — скатился вниз, к телефону-автомату.

— Марио нет, — сказал усталый женский голос.

— Антонелла, не вешай трубку, — зачастил я. — Читала утренние газеты? Сейчас же посмотри! Мне позарез нужен твой брат.

— Он еще не вернулся с ночной рыбалки. Вместе с моим мужем, — ледяным тоном ответила она.

— Передай Марио, когда возвратится: пусть никуда не уходит. Я буду звонить каждый час.

— Хоть каждую минуту, мне все равно.

Площадь Свободы была забита людьми, и народ все прибывал, рабочие, гимназисты, моряки, крестьяне из близлежащих деревень, в праздничных костюмах из синего сукна и островерхих шапочках, крепко держащие под руку жен в домотканых платьях из козьей шерсти и накинутах на плечи пестрых платках. Скорее всего они приехали рано утром на свой праздник и теперь явно не понимали, что происходит: молча стояли и смотрели в сторону статуи, где что-то блестело на солнце.

Наступил полдень. Марио не возвращался. Уже и прилегающие к площади улицы и переулки были забиты народом. Нескольким раз через громкоговорители всех просили разойтись по домам и включить телевизоры: начинается предварительный допрос преступников следователем по особо важным делам синьором Контти.

— Дайте их нам! Без следствия разорвем! — прокричал высокий юношеский голос. Гул возмущения заходил волнами по толпе. Никто не сдвинулся с места. Рядом со мною из кафе вытащили телевизор и водрузили перед витриной на тумбочку, предварительно поставленную на овальный стол.

...Он действительно походил на шляпу, этот странный пришелец, покоящийся на трех консолях с пузатыми самолетными колесиками. От консолей тянулись толстые цепи к грузовикам. Плотное кольцо карабинеров мешало разглядеть детали конструкции. Диктор добросовестно пересказывал подробности зага-



дочных ночных событий, но про лазерные пушки в руках небесных гостей на сей раз не говорилось.

Затем на экране показали просторное, хорошо обставленное помещение с портретом Гарибальди во весь рост. Это был кабинет шефа полиции. По одну сторону длинного темно-коричневого стола сидели солидные синьоры с нашивками и бляхами на мундирах. По другую — двое в наручниках, под бдительным присмотром стоящих рядом охранников. От толпы репортеров стол отделяла плотная шеренга карабинеров.

Но вот сменился ракурс — и в одном из преступников я узнал Марио...

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Итак, вы утверждаете, лейтенант армии США Эммет Ньюхауз, что сегодня в два часа пополудни вы стали жертвой террористических действий двух дотоле неизвестных вам лиц, одно из которых, итальянский подданный Марио Калаватти, сидит справа от вас?

НЬЮХАУЗ: Именно это я и утверждаю.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Поясните вашу мысль.

НЬЮХАУЗ: Около двух ночи я начал разогревать двигатели моей «медузы», так мы на базе прозвали летательный аппарат. Вот-вот должен был появиться второй пилот, он немного задержался в столовой. Вдруг в кабину врываются двое террористов. Угрожая мне ножом, они вынудили поднять «медузу» в воздух и приказали лететь к Палермо. Подчеркиваю: все мои последующие действия были продиктованы террористами.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Что вы на это скажете, Марио Калаватти?

КАЛАВАТТИ: Он сказал сущую правду, синьор. Должен признаться, что поначалу захват «летающей тарелки» не входил в наши планы. Мы проникли скрытно на базу с единственной целью — сделать несколько фотоснимков этого дьявольского аппарата. Сколько горя принес он всей Сицилии!

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Синьор Калаватти, из каких источников вам стало известно, что летательный аппарат можно сфотографировать непосредственно на территории базы?

КАЛАВАТТИ: Об этом догадался Винченцо, он раньше работал у янки на Поющей. Но когда его догадка на наших глазах оправдалась, когда увидели, что «тарелка» вырुлила из ангара, когда услышали из кабины английскую речь, это пилот перегоривался по рации, — тогда-то окончательно убедились: никакие они не инопланетяне. Заурядные жулики. Оборотни. Насильники. И, не сговариваясь, кинулись к «тарелке». Мы хотели представить всем вещественные доказательства — и представили.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Вещественные доказательства чего?

КАЛАВАТТИ: Гнусных проделок тех, кто терроризирует Сицилию, поджигая по ночам деревья. Кто напустил эпидемию на Сигону. Кто убил мою жену. Пусть теперь они получают возмездие по всей строгости закона.

НЬОХАУЗ: Какое такое возмездие? При чем тут убийство чьей-то жены? За что я должен отвечать? Как военный, я просто выполнял приказы.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Чьи приказы вы выполняли? Не слышу, громче!

НЬОХАУЗ: Не имеет значения чьи.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Лейтенант Эммет Ньюхауз, судя по вашему ответу, вы некритически оцениваете ваше положение. Оно незавидное. Захват летательного аппарата двумя частными лицами, из которых одно смертельно ранено, — это юридический акт определенного свойства. Ваша же злонамеренная деятельность, включающая в себя уничтожение частной и общественной собственности, а главное, вызов эпидемии в Сигоне — акт принципиально иной. Точнее, целая цепь актов. Это я говорю как юрист. Не удержусь добавить как человек: отвратительней всего, что злодеяния совершались вами не просто в полной скрытности, но выдавались за деяния так называемых инопланетян. И ваши ответы, наподобие предыдущего, могут лишь усугубить тяжесть обвинений, которые вскоре будут вам предъявлены.

НЬОХАУЗ: Комедия, да и только. При чем тут эпидемия в Сигоне?

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Неужели вы, лейтенант, не отдадите себе отчета, что повинны в смерти ста девяноста шести граждан Италии? Именно столько скончалось от эпидемии на сегодняшний день. Опять-таки как юрист я не сомневаюсь: суд вынесет вам смертную казнь.

НЬОХАУЗ: Отказываюсь понимать происходящий фарс. Меня, гражданина самой великой державы мира, шантажируют угрозой смертной казни? Мне угрожают смертью — и за что? За десяток сожженных деревьев, за спаленную будку на причале?! Я требую, чтобы здесь присутствовал представитель командова-

ния нашей ракетной базы. Возможно, он даст необходимые разъяснения.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Необходимые разъяснения от вашего командования получены час назад. Я позволю себе их зачитать:

«Официально уведомляем, что никаких летательных аппаратов наподобие «летающих тарелок» в распоряжении командования базы нет и никогда не было. Однако допускаем, что лейтенант Ньюхауз тайно от командования незаконно хранил подобный аппарат в одном из ангаров базы или вне базы. В этом случае лейтенант Ньюхауз попадает под юрисдикцию частного лица, отвечающего за любые свои действия, в том числе включающие в себя конструирование, приобретение, хранение и использование любых летательных аппаратов — от дельтаплана до спортивного самолета. Выражая сожаления по поводу неправомерных действий лейтенанта Ньюхауза, ставим в известность, что всю минувшую неделю, включая вчерашние и сегодняшние сутки, лейтенант Ньюхауз был свободен от дежурства и, следовательно, на территории базы отсутствовал. Из вышеупомянутого вытекает, что любые действия лейтенанта Ньюхауза в период нахождения вне базы надлежит квалифицировать как самочинные, не затрагивающие духа и буквы военной службы».

НЬЮХАУЗ: Фальшивка!

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Подписано: «Командир базы генерал Мэйр». Вы еще сможете ознакомиться с этим официальным документом.

НЬЮХАУЗ: Невероятно! Генерал Мэйр лично давал нам задание на каждый вылет.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Допускаю. В чем заключался смысл этих заданий?

НЬЮХАУЗ: Достичь определенного пункта. Поджечь одно-два дерева. Вернуться на базу... Поймите ж наконец, как можно частным путем приобрести летательный аппарат с шестью электрическими двигателями? С лазерным устройством, которое одно потянет на миллион долларов! С батареями, при всей компактности настолько мощными, что их хватает на полтора часа полета! Кто-нибудь видел в магазинах такие батареи? Да когда «медузу» привезли к нам, я влюбился в нее с первого взгляда!

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Не припомните, когда именно вы влюбились с первого взгляда в этот летательный аппарат?

НЬЮХАУЗ: Двадцать шестого июля ее привезли. Я как раз заступал на дежурство. Увидел — и обомлел. Какая отделка деталей. Как легка в управлении! Игрушка!

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Ваша игрушка принесла Сигоне смерть и неисчислимые бедствия. Не пытайтесь, лейтенант, красивыми словечками замести следы грязных дел. Игрушка появилась на Сицилии не двадцать шестого июля, как вам кажется, а на две недели раньше, до начала эпидемии. Уясните себе — до!

НЬЮХАУЗ: Подобные обвинения нуждаются в серьезных свидетельствах.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Охотно зачитаю эти свидетельства. Они принадлежат дону Иллуминато Кеведо, человеку весьма порядочному. И кстати, снабжены фотографией вашего летательного аппарата — за сутки до землетрясения... Итак, раскрываем журнал «Ты и я».

Я протиснулся в кафе, позвонил Антонелле.

— Мой брат, мой брат, — всхлипывала она. — Неужели его посадят в тюрьму?.. Ты думаешь, суд когда начнется?

— Не раньше чем выздоровеет Винченцо, — сказал я.

— Он между жизнью и смертью. Я звонила в госпиталь. К нему не пускают никого.

Долгое, безысходное молчание.

— Антонелла...

— За что ему такие мучения? За что прыщи по всему телу, с тех пор как пошел работать на проклятую базу! Прыщи, провалы в памяти! Кошмарные ночные разговоры в бреду с каким-то уродом Колоссом!.. Господи, за что наказуешь?

— Антонелла, успокойся. Сейчас мне нужно в Чивиту ненадолго. На обратном пути приеду к тебе...

СЛЕДОВАТЕЛЬ: ...по всей строгости закона.

НЬЮХАУЗ: Хватит меня пугать законом! Поймите же, в конце концов, я не имею никакого отношения к эпидемии. Никакого! Мыслимо ли, чтобы десяток-другой разноцветных шаров, якобы выпущенных из «медузы», стали разносчиками смертельной заразы.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Значит, вы признаетесь, что выпускали шары?

НЬЮХАУЗ: Не ловите меня на слове! Я сказал: якобы — и крышка. Загляните в мой послужной список. Затребуйте на меня характеристику. Вам станет ясно, способен ли я лгать.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Я зачитал не все послание генерала Мэйра. Как вам нравится такой абзац:

«Просим учесть, что лейтенант Ньюхауз склонен к употреблению наркотиков, в частности марихуаны, за что был наказан очередной наркологической комиссией по проверке стратегической авиации США и ракетных сил наземного базирования и лечился в специальном центре для наркоманов».

НЬЮХАУЗ: Марихуана не наркотик. Она безвредна. Ее можно купить на любом углу Палермо. Она улучшает настроение, как вино. К тому же я не исключение. В прошлом году у нас в армии и на флоте лечилось от наркомании 38 тысяч человек.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Я заканчиваю цитируемый абзац:

«Не исключено, что свои неправомерные действия лейтенант Ньюхауз совершал под действием наркотиков».

Только теперь Ньюхауз, кажется, осознал все. По лицу его катились хорошо заметные на экране капли пота. Он достал носовой платок, но вытирал почему-то не лицо, а водил им по плечу. Следователь отложил бумаги в сторону и молчал.

НЬЮХАУЗ: Значит, наркоман, поджигатель, идиот и убийца, так?

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Вам виднее, лейтенант.

НЬЮХАУЗ: Кто бы я ни был, прихлопнуть себя, как муху, не дам. Нечего мне навешивать чужие грехи.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Чьи грехи, разъясните...

НЬЮХАУЗ: Коли речь зашла о моей жизни и смерти, заявляю официально: истинная причина эпидемии в Сигоне — взрыв ракетных боеголовок. На складе, внутри Поющей горы. Отсюда

и землетрясение. Да, рвануло так, что западный склон разворотило, как кратер. Газ вырвался наружу, начал стекать со склона и затоплять Сигону. Сейчас склон почти залатали, но тогда он был весь обезображен. Из-за этого и уволили наутро всех вольнонаемных.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Каковы свойства этого газа?

НЬЮХАУЗ: Я мало что знаю. Вроде бы он бесцветный, без запаха. Собственно, в нем два компонента. По отдельности они безвредны, ну а в смеси... Говорят, на определенное время смесь вызывает безумие. Видимо, так оно и есть: на базе после взрыва пострадало человек двадцать. Я их видел собственными глазами. Они походили на буйно помешанных.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Какова дальнейшая судьба этих пострадавших?

НЬЮХАУЗ: Отправили в Америку. Я слышал, некоторые умерли.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: На базе это первый случай утечки газа?

НЬЮХАУЗ: Да. Если не считать инцидента с лейтенантом Уорнером. Семь лет назад он тоже пострадал от взрыва, правда слабенького. И тоже был отправлен на родину. Он вылез, получил пенсию, но в прошлом году вроде бы покончил с собой.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Известна ли вам причина самоубийства лейтенанта Уорнера?

НЬЮХАУЗ: Лишь приблизительно. Ходили слухи, что у него дважды рождались уроды. Не то двух-, не то трехголовые.

КАЛАВАТТИ: Будьте вы дважды и трижды прокляты, уроды заокеанские! И ты вместе со своей «медузой»!

НЬЮХАУЗ: Проклинать надо тех, кто газ изобрел. Хотя лично у меня особое мнение: двухголовые люди, лягушки или голуби все же предпочтительней, чем адова пустыня после водородного взрыва.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Куда нацелены ракеты?

НЬЮХАУЗ: Откуда мне знать? Не моя забота, кто куда нацелен. Хоть на Луну. Главное, чтобы все здесь уяснили: насчет эпидемии руки мои чисты. Как и совесть. А за обугленные деревья, если надо, отвечу.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Согласны ли вы в дальнейшем привести более подробные свидетельства истинных причин эпидемии?

НЬЮХАУЗ: Согласен. Но при условии, что не конфискуете мою «медузу». Она теперь моя личная собственность, судя по отвратительному посланию генерала.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Суд учтет ваше раскаяние, хотя ваше более чем странное условие не делает вам чести.

10. ЖЕРНОВА ГАЛАКТИКИ

Ни единой живой души не обогнал я по дороге в Чивиту. Грузовики, роскошные лимузины, расписанные цветами телеги с мулами, нехотя перебиравшими ногами, — все двигалось только навстречу. И в палермском порту, когда я выезжал, уже причаливала добрая дюжина пароходов из Неаполя, битком набитых любопытствующими, показывающими друг другу в небо,

где тархтел биплан, раньше рекламировавший джинсы или стиральный порошок, а теперь влекущий за собой полотнище с изображением «медузы», крест-накрест зачеркнутой красными линиями и такими же красными буквами:

ЯНКИ, КАТИТЕСЬ ВОН!!

Я размышлял о событиях последних дней, об Антонелле, о Марио, о мертвом Винченцо, которого я так и не увидел и который представлялся мне отчего-то похожим на Гарibaldi с портрета в кабинете шефа полиции. Я думал о судьбе лживого свидетельства козлоногого сатира Иллюминато Кеведо, как ни странно, сыгравшего решающую роль в показаниях лейтенанта Эммета Ньюхауза. Выходит, фальшивка, сфабрикованная во зло, помогла разоблачению зла? Что за мудреный механизм саморазрушения неизбежно тянет зло к гибели? Сколько раз случилось в истории, да и в моей жизни: красота, справедливость втоптаны в грязь, поруганы, оболганы; но неукоснительно наступает миг, когда росток добра разрывает мрачную скалу, казавшуюся монолитом. Когда (как в стихах великого поэта) вдруг

...повеет ветер странный —
И прольется в небе страшный свет,
Это Млечный Путь вззошел неожиданно
Садом ослепительных планет.

За немногие эти дни прежняя моя жизнь стала представляться слишком благополучной, мелкой, суетной. Духовного сосредоточения — вот чего в ней не хватало. Не успел сказать нужных слов отцу. Несколько свысока относился к Мурату, потому что завидовал, да, завидовал, пытаюсь скрыть эту зависть от самого себя. Не уберег Снежнолицую в хрустальной ладье. Потешался над причудами деда, когда, возвращаясь под утро домой, замечал его седую бороду над крышей дома: дед ждал восхода солнца, чтобы первым встретить Огненный Щит древним песнопеньем о Царе-Огне, Воде-Царице... И отец, и Мурат, и дед могли не знать о пророчестве спасения мира красотой. Но чтобы спасти его, нужны их руки. И, надеюсь, мои. Иначе из непредставимо разъединенных с нами миров не пал бы именно на меня тонкий живоносный луч...

— Эона, все доказательства налицо. Я жду возмездья. Я. Антонелла и Марио. Сигона.

— И Сицилия, и Земля, и Солнечная система. И Галактический совет охраны красоты. Но какого возмездья из многих его значений: воздаянье, награда и кара, плата по заслугам, вознаграждение, отдача, возврат? Но возмездия — кому?

— Вознаграждение? Награда? Ты смеешься, Эона! Пусть подымется вал из моря выше Поющей, пусть поглотит проклятую базу со всем ее смрадным нутром!

— И отхлынет? И зальет Крит, Сардинию, Корсику, Кипр? И Триест, и Неаполь, и Афины, и Риеку? Зачем ты пытаешься вызвать мощные силы, не умея ими управлять?

— Пусть не вал, ты права: он сметет берега Средиземного мо-

ря. Пусть взорвется вулкан под Поющей, он молчит свыше тысячи лет. Пусть лава хлынет вниз и зальет всех уродцев в Сигоне! Очищение огнем!

— А если не только Сигону поглотит огонь и пепел? Сицилию, Апеннинский полуостров, Европу... Что ты знаешь про Кракатау?

— Это вулкан где-то в Тихом океане...

— Между Суматрой и Явой. В 1883 году пепел от его извержения покрыл площадь в пол-Европы. Несколько лет пепел носило ветрами от экватора до полюсов. Погибли десятки тысяч людей, все живое близ залива Лампонг и в Зондском проливе. Допускаешь, что уснувший вулкан под Поющей мощней Кракатау? Например, в сто раз? В тысячу?..

— Допускаю, Эона. Хотя... мне надо тебя срочно повидать, через час я буду у нашей колючей стены.

— Там меня уже нет. Продолжаю сбор доказательств в другом месте.

— Где же ты?

— На острове Грюнард, рядом с побережьем Шотландии.

— Тоже выселен?

— Тоже обнесен колючей проволокой. Бывший полигон для испытаний биологического оружия. Здесь заражали животных сибирской язвой. Трупы закапывали в землю. Знаешь, сколько эта зараза может дремать в земле? Тысячу лет. Уровень заражения — десять микроорганизмов на грамм земли!

— Эона, я найду тебя и на Грюнарде!

— Не успеешь. Да и въезд сюда запрещен. Скоро я буду на острове Гельголанд в Северном море.

— Тоже сибирская язва?

— Здесь затоплены титановые отходы. Все Северное море заражено. Цезием. Стронцием. Диоксином. Один только американский концерн «Нэшнл лид» выбрасывает в море ежегодно 450 тысяч тонн ядовитых отходов.

— Прилечу и на Северное море! Найду, где бы ты ни была. Слышишь меня, Снежнолицая?

— Зови меня лучше Зоной.

...Зденек встретил меня улыбкой. Таким ликующим я ни разу его не видел.

— Олег, вчера обнажилась голова дракона! Серебряная! На вашем раскопе! Но именно о драконах на глобусе подробно пишет ал-Идриси в «Развлечении истомленного в странствии по областям». Идемте в палатку, я вам прочту этот отрывок и покажу находку. Какая удача!

— Мы почитаем ал-Идриси в Палермо, — сказал я. — Через пару часов. Но до этого быстро свернем экспедицию. Попросите всех собраться немедленно, это приказ Сергея Антоновича. И давайте грузиться. Надо забрать все раскопанное. Включая голову дракона.

— Час от часу не легче! Как можно грузиться, если сегодня не приехали рабочие! Ни один, представьте себе. Что бы это означало?

Я объяснил Зденеку Плугаржу, что это означало...

Незадолго до моего возвращения в Палермо лейтенант Эммет Ньюхауз был выведен в наручниках из здания полицейского управления. Марио шел следом, шагах в десяти. Лейтенант уже занес ногу на ступеньку тюремного фургона, когда три разрывные пули с крыши соседнего дома одна за другой сразили его наповал. Убийцу захватить не удалось, но он оставил на чердаке винтовку с телескопическим прицелом. Из окружающих никто больше не пострадал. В создавшейся суматохе Марио успел растрепаться в толпе...

Тень Ньюхауза, поглощенная тенью «медузы», тихо отделилась от нашей планеты, чтобы где-то в необъятной звездной пустоте слиться с тенями, подобными ей. Тенями, чьи земные владельцы — ради корысти, мздоимства, алчбы — решились стать игрушкой в лапах темных сил, втайне, быть может, надеясь, что принесут окружающим не столь уж великое зло, и не понимая, что у зла нет меры. Нет меры у зла, и потому любой его пособник — предатель человечества...

— И наоборот, — закончила Антонелла. — Ты видел, как преобразилось лицо Марио? Как будто он вдруг узнал о своем истинном земном предназначении. Где-то он теперь скрывается, мой бедный брат? Боюсь, все он испортил своим побегом...

Я промолчал. Шел второй час ночи. Толпа на площади не поредела ничуть. Кое-где горели небольшие костры из мусора. Раздуваемое ветром пламя освещало усталые лица людей. Люди смотрели ввысь, на звезды, словно пытались прочесть в звездных письменах ответ на земные вопросы.

— Слышал, янки подтвердили, будто они ликвидируют базу? До конца года. Сначала все на площади обрадовались, зашумели, даже пустили несколько ракет. Но потом узнали, что не ликвидируют, а переносят. В Порторалло, на самый юг Сицилии. Я тебе говорила, они кого угодно купят с потрохами. Что ж ты молчишь, Земледер?

— Вся площадь молчит, — сказал я.

— Давно уж пора бы заговорить, — устало ответила она. — Что-то мне не по себе стало. Вроде надвигается гроза...

Я успел обнять Антонеллу рукой за плечо, когда небо позади нас вспыхнуло фонтанами пурпурного огня. Следом прикатился и начал нарастать гром, будто заработали неведомые жернова Галактики.

Это вновь запела Монте Кантаре, Поющая гора.

12. ЭПИЛОГ

Ватага мальчишек носилась вокруг памятника Джузеппе Гарибальди на берегу залива. Герой, возглавивший когда-то поход знаменитой «Тысячи», высадился здесь, освобождая родину от папского и австрийского владычества. Левой рукою он опирался на шпагу, а правую простер в даль Тирренского моря, где скользили по горизонту тени чужеземных кораблей. Серобелый вулканический пепел опускался на гриву медных волос великана.

На эфесе шпаги я разглядел двухголовую ящерицу — напо-

добие той, из-за которой я вновь оказался здесь, на Сицилии.

— Чудовищное извержение вулкана Монте Кантарел!.. — восторженно закричал появившийся на ступеньках бара шустрый продавец газет. — Расплавленная лава целиком поглощает Сигону!.. Возможная причина извержения — взрыв американской подземной базы! Есть версия, что базу взорвал Марио Калаватти, сбежавший после загадочного убийства пилота «летающей тарелки» Ньюхауза!.. Дебаты в парламенте о немедленном закрытии всех американских баз на территории Италии!

От мальчишек отделился один, кудрявый, с прекрасными чертами эллина. Подбежав ко мне, он сказал:

— Я знаю, синьор, почему вы смотрите на нас. Хотите, наверное, угадать, во что играем?

— Уже угадал, — сказал я и протянул юному эллину разноцветный пакетик с мармеладом из лепестков роз. — Угостишь и друзей гарибальдийцев, ладно?

— Спасибо, синьор. А кто сегодня среди нас Гарибальди, угадаете?

— Сегодня не угадаю. Времени в обрез, — сказал я.

И тогда хозяин Сицилии ответил гордо:

— Я — Гарибальди. И тоже зовут Джузеппе. И я никогда не умру.





Фантастический рассказ

Хотя о метаперламентальной теории теперь много говорят, но все почему-то упускают из виду одну связанную с ней трудность. Должно быть, потому, что слишком близко касается она некоторых противных «вечных» вопросов. Их не любят. От них отворачиваются. А я вот никак не могу разделить общепринятого к ним пренебрежения. Не могу, поскольку сам побывал в несравненно более фантастическом положении, нежели все легендарные личности, начиная от Крона, чьи судьбы, предсказанные заранее, так и не удавалось изменить.

Я не сторонник и не противник метаперламентальной теории и колеблюсь принять ее за истину или за ошибку. Но в одном я убежден твердо: относящиеся к ней проблемы не станут легче, если мы даже отвергнем эту теорию. Ведь очень труд-

но допустить, что такое понятие, как «теперь», существует не только для нас с вами, но и для самого космоса. Почему именно наше с вами «теперь», а не любое другое?

Как бы эту мысль выразить потолковее?

Есть такие слова, смысл которых меняется, когда меняется лицо, которое их произносит. Так, например, если слово «я» произносит попугай — оно обозначает птицу, а если его произносит робот — оно обозначает машину. Если же слово «я» произносится различными людьми, то оно и обозначает различных людей.

Спорят, например, две девочки и твердят друг другу: «Нет, это не твоя, а моя кукла!» В устах каждой из них эта одна и та же фраза имеет свой собственный смысл, иначе о чем же было бы спорить?

Я не предвижу возражений, если заявлю, что и слово «здесь» принадлежит к такого рода многосмысленным словам. Ведь если его произносят на Марсе и не говорят при этом о нашей метagalактике, то имеют в виду какое-то место на Марсе, а если его произносят на Земле, то имеют в виду какое-то место на Земле. И слово это — «здесь» — лишено объективного значения, в том смысле, что нет для космоса такого места, как «здесь». Есть много различных «здесь» для обитателей космоса, но нет никакого «здесь» для самого космоса.

Но можно ли то же самое сказать о слове «теперь»?

Казалось бы, да. Совершенно ясно, что значение слова «теперь» меняется, когда его произносят различные лица. Например, в устах Рамзеса II оно обозначало нечто иное, чем в устах Наполеона I. Но верно ли, что нет для самого космоса такого времени, как «теперь»? Очень трудно думать иначе! Однако, если космос не разделен никаким своим собственным «теперь» на свое прошедшее и будущее, если он существует разом со всем тем, что мы относим к прошедшему и будущему, то тогда все наши поступки в некотором смысле уже совершены. А с этим согласиться тоже нелегко!

Так вот, я убежден, что избежать такого рода проблем насколько не помешает и не поможет даже полное забвение факта движения сознаний вперед и обратно по мировым линиям.

Впрочем, употреблять слово «факт» в связи с таким истолкованием событий преждевременно. Правда, теперь уже метаперламентальная теория ни с чьей стороны не вызывает прежних бурных возражений. Даже такой ее непримиримый прежний противник, как мой дядя Мирон Михайлович Магницкий, давно сжился с ней и смирился. Теперь он любит повторять, что упустил возможность поставить очень любопытные опыты. О, тут он прав!

Странное дело. Казалось бы, когда живешь повторно, то не можешь не испытать искушения хоть раз ступить не в ту сторону, хоть пальцем пошевелить не так, как прежде. Но в том-то и суть, что и я и другие находились тогда в каком-то похожем на транс состоянии, когда совершенно не до экспериментов.

Впрочем, это касается лишь вторичных наших переживаний.

Что же до первых «сдвигов сознания по мировой линии», то никто, кроме покойного Николая Петровича Сурина, не мог принять их просто за действительность. Но и Сурин принял их за яркие галлюцинации. Ему казалось, что звоны, издаваемые вибрирующими метеоритами, складывались в тонкую мелодию и она каким-то образом навязывала ему галлюцинации. Я же в звонах третьего слоя метеоритов не уловил никакой гармонии. Сурин же утверждал, что и тогда звучала мелодия, правда, очень сложная и тихая, и я несколько не сомневаюсь, что она звучала на самом деле, а не просто в его воображении. Именно потому, что он ее совершенно явственно слышал, он, обычно на редкость невозмутимый, так горячился, когда убеждал капитана отменить его приказ о торможении корабля.

Я хорошо запомнил день, когда этот приказ был объявлен. Отец пришел с ночной вахты красным от негодования, каким я его никогда не видел. Не поприветствовав нас с мамой, он сразу сообщил, что капитан решил повернуть корабль и лететь к Земле.

— Прекрасно! — обрадовалась мама. — Давно пора возвращаться.

Отец горячо запротестовал:

- Впереди есть еще один слой вибрирующих метеоритов! — Нервничая, он всегда ерошил бороду длинными пальцами. — Иначе бы гравизонд не послал нам этих сигналов. А капитан говорит, что испортился зонд и сигналы недействительны. Это, говорит, мое официальное мнение. И баста! Но нет у него никаких данных о поломке зонда! Нельзя ставить крест на дальнейших исследованиях, когда материал сам в руки идет!

— Но у нас на исходе запасы цезия, — возражала мама.

— Чепуха! — Отец никак не мог успокоиться. — Цезия с лихвой хватит еще на полгода...

Откровенно говоря, я не разделял огорчений отца. Увидеть Землю собственными глазами было самой страстной моей мечтой. Все свои двенадцать лет жизни я провел на космическом корабле и планету моих предков представлял только по рассказам и фильмам. На корабле был специальный зал, где среди кустов малины росли три груши, шелковица и две карликовые сосны. Этот зал величался Рощей. Однажды я свалился с груши, и тогда в Роще поставили шведскую стенку, чтобы мне было куда лазить.

О, как я презирал эти шесть жалких деревьев, малинник и шведскую стенку, посмотрев фильм о тропиках и тайге! Роща стала для меня символом убогости мира, в котором я был рожден.

Детей на корабле не было, кроме меня. Я же родился на одиннадцатом году полета, через два года после выхода экипажа из анабиоза. Возможно, именно благодаря своей единичности, уникальности, я рос тяжелым, пожалуй, даже скверным ребенком. Любимым моим развлечением было притвориться больным и стать, таким образом, центром всеобщего внимания. Со временем эту уловку разгадали. Тогда я стал прятаться, наслаждаясь возникающей суматохой. Однако вскоре догадался, что по малочисленности на жилой палубе потаенных мест меня

тотчас находят и лишь из деликатности делают вид, будто не знают, где я прячусь.

Конечно, честолюбие продолжало требовать своего, и я не оставил стараний во что бы то ни стало возбудить интерес к собственной персоне. В ход шло все: рев в кают-компани, топание ногами, тайная перенастройка автоматов обслуживания... Чего только не вытворял ребенок, которым был я!

Признаюсь, учиться я не любил. Когда мама усаживала меня за уроки, тетрадки, карандаши, кисточки куда-то исчезали или адски разбалчивалась голова. Трудно приходилось моей маме! Но она была талантливым педагогом. Минут через пятнадцать после занятий я успокаивался и начинал вникать в школьную премудрость. Особенно маме удавались рассказы про великих богатырей поэзии и мысли. Она обладала прекрасной памятью и могла, например, часами читать Гомера наизусть.

Однажды утром, когда мама читала мне сказание об Одиссее и оболстительных Сиренах, отец вмешался в урок, чего он обычно не делал. Он сказал, что незачем было Одиссея привязывать к мачте. Могучий духом витязь не нуждался в физическом принуждении, чтобы противостоять зову пленительной музыки. Мама с отцом не согласилась, и они заспорили.

Забегая вперед, замечу, что испытание, уготовленное судьбой нашему кораблю, отчасти напоминало приключение Одиссея с Сиренами. Однако оно не разъяснило, на чьей стороне в том споре была истина.

Мне, впрочем, кажется, что права была мама. Она считала, что древние превосходно понимали человеческую природу и не могли допускать психологических ошибок в своей классике. Папа же никак не желал поверить в способность музыки лишать самообладания человека развитого и уравновешенного.

Увлеченные спором, мои родители совершенно забыли обо мне, а я обрадовался перерыву урока и побежал помогать Николаю Петровичу, который как раз переселялся в наше крыло. Вернулся я лишь к обеду, успев нашему новому соседу порядочно надоесть. До этого Сурин жил уединенно в хвостовом отсеке, но какая-то неисправность в автоматике заставила его занять каюту над нами.

Это был странный человек. Самым любимым занятием его было упражнение в игре на скрипке. На протяжении нескольких часов из его каюты доносилось однообразное пронзительное пиликанье. С чудовищным постоянством Сурин извлекал смычком две-три всегда одни и те же ноты. И так почти каждый день. Унылым скрипичным пассажем не было конца. Никто из нас уже не надеялся, что Сурин сыграет нам какую-нибудь мелодию.

По убеждению Сурина, истинная музыка заключалась не в пленительном чередовании звуков, не в разнообразии мелодий, а в красоте отдельно звучащей ноты. Высшим достижением музыкальной живописи он считал аккорд, совместное звучание нескольких разных по высоте звуков. Излагая в кают-компани свою теорию музыкальной однозвучности, он обычно заканчивал ее размышлениями о разумном одиночестве человека. Гармония жизни звучит не только там, где соединяются пары

людей. Она может прозвучать и там, где человек находит смысл и счастье в себе самом.

Как-то вечером, когда родители считали, что я уже заснул, мне удалось подслушать интересный разговор. Мама тихо рассказывала отцу, что когда-то давно, на Земле, Сурин долго и безответно любил одну женщину. Мама считала, что эта несчастная любовь и была причиной его меланхолии, выразившейся в увлечении этим странным музицированием...

Разве мог я тогда подумать, что менее чем через месяц собственными глазами увижу любимую Суриным женщину, вернее — ее воздушное изваяние...

На следующий день после того, как отец вернулся с вахты таким рассерженным, к нам пришел в гости Николай Петрович. Приказ капитана, так возмущивший отца, кажется, разгневал Сурина еще больше.

— Я совершенно с вами согласен, Константин Михайлович. Мы останавливаемся перед самым замечательным открытием, — негодовал Сурин. — Этот приказ необходимо отменить!

Николай Петрович был так взволнован, что даже немного заикался.

— Я не переставая думаю об этих атомах-метеоритах каждый день, — стараясь говорить медленнее, продолжал он. — В их шелесте было столько музыки!

— Музыки? — переспросила мама.

— Да, это настоящая музыка! Ее благородные консонансы проникнуты идеей некой космической гармонии. Правда, там еще слышалась сложная мелодия, что уже, по-моему, лишнее. Она отчасти профанировала эту величественную идею!

— Но ведь все вибрирующие метеориты испускают гравитационные волны одной и той же частоты! — Маму настолько заинтересовало заявление Сурина, что она прекратила готовить завтрак и села в кресло. — Для создания мелодии требуется чередование звуков разной высоты...

Сурин стал объяснять:

— Тут проявляется эффект Доплера. Высота звука зависит от скорости его источника. Если источник приближается, звук кажется тем выше, чем больше скорость источника. А если удаляется — все наоборот. Музыкальный инструмент может испускать всегда один и тот же звук, например «до» первой октавы. Но, перемещая его относительно нас с различной скоростью, можно исполнить на нем любую мелодию. То же происходит и с потоками вибрирующих метеоритов. Их скорости неодинаковы и непостоянны во времени. Кстати, как показали исследования вашего супруга, под влиянием процессов в галактическом ядре происходит непрерывное перестраивание всего метеоритного слоя. Может случиться, что математическая структура какой-либо музыкальной композиции совпадет по чистой случайности с математическими соотношениями, которые управляют движением метеоритных потоков. Тогда в шелестении метеоритов появится музыка, сочиненная самой природой.

— Но звуки не могут проходить сквозь безвоздушное пространство, — блеснул я свежими знаниями акустики.

— Мальчик мой, — Николай Петрович снял очки и внимательно на меня посмотрел. — Сквозь вакуум проходят не звуки, а гравитационные волны. Их приемником служат слитки цезия в трюме. Эти волны и заставляют вибрировать наш корабль.

— Метеориты — это большие атомы? — спросил я, повторно блеснув эрудицией.

— Это капитан так считает, — ответил мне отец. — По его мнению, это атомы с чудовищным атомным весом...

Отец так и не стал завтракать в то утро. Переодевшись, он с Суриным пошел к капитану. Я два раза ухитрился прошмыгнуть в командный отсек, но меня быстро выпроваживали. Я так и не понял, о чем Сурин спорил с капитаном. Запомнился только его взволнованный голос и воздетые вверх руки. Казалось, он обращается со своими доводами к самим небесам. Однако капитан не отменил своего решения. Как потом оказалось, он ошибался, но, несомненно, к счастью для всех нас...

В назначенный срок корабельные двигатели были переведены в режим торможения. На другой день меня начали готовить к анабиозу. Первая процедура — стимулирование нервной системы токами высокой частоты — проводилась автоматами. В медицинских покоях мне выделили кресло рядом со стеклянным шкафом, начиненным аппаратурой. За прозрачной дверцей что-то непрерывно жужжало. Понемногу в этот шум стал вплетаться тихий, очень красивый звон. Мне показалось странным, что шкаф так музыкально звенит. Я пододвинул кресло поближе к шкафу и принялся рассматривать сияющие приборы.

Не знаю, сколько я просидел неподвижно перед стеклянным шкафом. Помню, что все предметы в шкафу сделались удивительно четкими. Неожиданно все поплыло куда-то, и яркий вихрь поглотил мое сознание. Казалось, миллионы картин в один миг пронесли перед моим воображением.

Внезапно я очутился на берегу волшебной реки, покрытой листьями кувшинок. Передо мной лежит опрокинутая лодка. В тени ветвистых деревьев чернеют прошлогодние скирды сена. В воздухе носятся шмели, а над водой летают синие стрекозы. Я замечаю на тропинке высохшую, раздавленную лягушку...

Опять наваждение: я оказываюсь на площади. На ней вертятся карусели и перекидные колеса. Народ толпится у палаток, в которых идут кукольные представления. Как удивительно хорошо сделаны куклы! Они кажутся живыми.

Под ближайшим навесом маленькие светящиеся феи танцуют среди картонных стеблей травы. Я не догадываюсь, я почему-то знаю, что там дают шекспировский «Сон в летнюю ночь».

Я узнаю в толпе знакомое лицо и машу рукой, но тут картина исчезает.

И вот я опять сижу в кресле перед знакомым стеклянным шкафом с приборами. Теперь мне ясно, что мелодичный звон образуется не в шкафу, а идет откуда-то снизу, из-под пола. Звон становится громче и призывнее. Я догадываюсь, что на корабле происходит что-то небывалое. Невозможно противиться призывной силе звона. Я бросаюсь к двери. За дверью — площадка, еще одна дверь, за ней винтовая лестница...

Я вспоминаю, что спускаться вниз мне строжайше запрещено. Там сердце и мозг корабля. С раннего детства я намертво усвоил, что мне «там нечего делать». Но оттуда доносятся такие пьянящие звуки, что я окончательно перестаю понимать, что делаю. Кто-то обгоняет меня на лестнице, я иду за ним, но скоро теряюсь в узком изломанном коридоре. Я останавливаюсь перед какой-то дверью. Мне приятно взяться за витую красивую ручку, повернуть ее вниз.

В большой светлой комнате сияют яркие панели. На одной из них горят сигнальные лампы. Рядом стоит капитан. В первую секунду я не узнаю его. Пепельно-бледный, с расстегнутым воротом рубашки, он не похож на себя. Уши у него залеплены какой-то белой замазкой, может быть, и воском, как у спутников Одиссея. Он скользит по мне взглядом, морщится, отворачивается к пульту. Я вижу, как он нажимает на клавиши, и подхожу к светящемуся экрану. Вглядываюсь. В расплывчатой глубине какие-то люди теснятся возле бронзовой двери. Отталкивают друг друга. Стучат кулаками. Они во власти космических Сирен: за этой дверью находится, должно быть, источник дурманящих звуков.

Пронзительный вой гудка разрывает уши. Я прижимаюсь к стене. В комнату вбегает высокий человек в зеленом комбинезоне. Он тянет меня за руку, и мы бежим куда-то по коридору, спускаемся по лестнице. Вой гудка отдаляется, я снова слышу сладкие, призывные звуки, но они стали глуше. Меня уже не так влечет к ним.

На одной из площадок я вижу отца, Сурина и дядю Мирона в изодранной куртке. Меня подхватывают на руки, вносят в полукруглую комнату с низким потолком и опускают в углубление, наполненное шипящей пеной. Я тону в этой пене. Минуту мне удается задержать дыхание. Потом я делаю глубокий вздох и проваливаюсь в небытие...

Трудно поверить, что я проспал двадцать пять лет! Мне же казалось, что не спал и десяти секунд. Вот я вдыхаю наркотическую пену, закрываю глаза и сразу ощущаю себя в сухой прохладной постели. Пахнет утренней свежестью. Где-то хрипло поет петух. Ему тут же отвечает другой — звонко, раскатисто.

Я опускаю ноги на ворсистый ковер и осматриваю комнату. По стенам висят картины в тяжелых рамах. У кровати столик, на нем кувшин с цветами и часы с Сатурном под стеклянным колпаком, радужно сияющим в солнечных лучах. Я открываю шкаф, нахожу ворох одежды, одеваюсь. На мне красная рубашка, короткие шаровары, шелковая шаль вместо пояса и мягкие сапоги, доходящие до коленей.

Ковер скрадывает мои шаги. Я открываю дверь в соседнюю комнату. За пологом огромной кровати кто-то тихо похрапывает. Я узнаю дыхание отца, возвращаюсь в свою комнату, прикрываю дверь. Подхожу к окну и раздвигаю шторы.

Совсем недалеко за пышными кронами деревьев сияют воды реки. Окно довольно высоко над землей. Верхние ветки не достают до подоконника. Я собираюсь с духом и прыгаю в

зеленую кипень кустов. Поцарапанный, но гордый своей смелостью, я поднимаюсь с земли и, прихрамывая, бегу к реке.

Никогда я не забуду неистового наслаждения, испытанного на этом берегу! То была волшебная, кристально чистая река, покрытая листьями кувшинок. Я стоял возле опрокинутой лодки и впитывал благоуханный воздух. Повсюду в траве мелькали голубые зрочки незабудок. В тени ветвистых деревьев чернели скирды прошлогоднего сена. В воздухе носились шмели и стрекозы.

Тропинка вывела к устью оврага. За ним, по склону поросшего кустарником берега, поднималась дорога, начинаясь от дощатого помоста, к которому было причалено несколько лодок. Я шел вверх по дороге, увязая в тонкой пушистой пыли.

Наверху — заросли красной бузины. В отдалении зеленел большой парк, обнесенный бедой оградой. Вместо ворот — две витые колонны. Главная аллея встретила меня порывистым шумом ветра в верхушках столетних лип. Я остановился и прислушался. Кроны деревьев не пропускали солнца. Что-то необыкновенно грустное было в этих прохладных сумерках пустой аллеи, и что-то таинственное скрывалось в темно-зеленой глубине кустов. Я побежал в самую гущу зарослей, топчa цветы и виноградные листья, устилавшие землю. Мне казалось, я снова слышу сладкие звоны, раздававшиеся на корабле.

Ветки больно хлестали по лицу, по коленям... Наконец я остановился и побрел назад, ища аллею. Обходя огромный куст жасмина, я споткнулся о мраморный порог беседки. Когда я подымался, растирая рукой ушибленное колено, мне на мгновение показалось, что я вижу над кустами женский силуэт. Тень двигалась по воздуху, таяла на глазах.

В центре беседки стояла мраморная статуя высокой, стройной женщины. Она выглядела печальной и какой-то даже болезненной. И все же она была удивительно красива. Я обошел статую, протянул руку, чтобы коснуться пальцами холодного камня... Моя ладонь прошла сквозь воздух. Статуя исчезла, растворилась в хлынувшем на меня потоке солнечного света. Беседка тоже исчезла, пропали кусты жасмина и старая липа с отпиленными нижними ветками...

Я стоял на большой поляне. Вокруг меня в вихре быстрого танца кружились маленькие фигуры. Передо мной танцевали тени детей. На краю поляны, у призрачной стены несколько музыкантов играли на скрипках. За темно-красным пианино сидела девочка с голубым бантом на голове, чем-то очень похожая на мраморную красавицу в беседке. Рядом с ней стояли два мальчика: один маленький, лохматый, с круглым добродушным лицом, другой худой, с большими живыми глазами, очень напоминавшими мне взгляд Сурина. Мальчик, похожий на Николая Петровича, что-то сказал девочке. Она засмеялась, подбежала к колонне, увитой виноградом, и потянулась за ярко-желтой кистью винограда...

Девочка с голубым бантом, фигуры детей, музыканты — все медленно тает в воздухе. И вот снова льются сверху солнечные лучи...

Я вижу деревянную пристань у моря. По морю плывут белоснежные суда, похожие на огромные раковины. На пристани

двое молодых людей. Я узнаю их. Это только что исчезнувшие мальчики, которых я видел возле пианистки с голубым бантом. А вот и она сама, превратившаяся в девушку. Она бежит по лестнице к причалу. Юноша, похожий на Сурина, поднимает руку. Девушка машет ему и сбегает по лестнице...

И снова все исчезает. И новое видение.

Раздвигая осоку, к берегу пруда подплывает лодка. Из лодки выходят круглощекий мужчина и молодая женщина с роскошными волосами. Это она! Я узнаю лицо статуи в беседке.



Женщина собирает цветы, потом возвращается и хочет прыгнуть в лодку, но, поскользнувшись, падает навзничь, на камень. Ее спутник пробует ей помочь встать, но она не может двигаться. Тогда он берет пострадавшую на руки и переносит в лодку. Густые рыжие волосы обрамляют ее бледное, без кровинки лицо...

И вот полутемная комната. Возле зашторенного окна стоит широкая кровать. На белой подушке копна рыжих волос. Лица не видно, но это она! Я угадываю любимую Суриным женщину по тонкой кисти руки на бордовом одеяле. Больная дергает шнурок, и шторы раздвигаются. Свет падает на резную дверь, дверь отворяется, и входят двое мужчин — круглощекий и другой, тонколицый, в котором я без труда узнаю Сурина. Больная что-то говорит. Сурин берет со стола скрипку и играет...

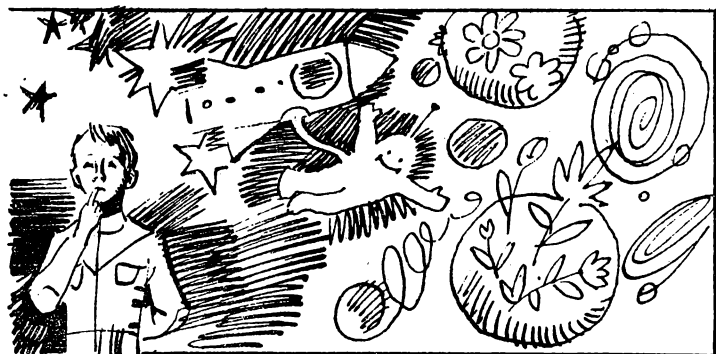
Потом появляется новая картина, но я не успеваю ее рассмотреть, потому что вдруг снова, как тогда на корабле, проносится вихрь мгновенных, каких-то вывороченных ощущений, и я слышу рев гудка на космическом корабле. Я бегу по лестнице, влекомый за руку высоким человеком в зеленом комбинезоне. На лестничной площадке я вижу отца, Сурина и дядю Мирона в изодранной куртке. Меня подхватывают на руки и вносят в полукруглую комнату с низким потолком. И все прожитое мною с тех пор в точности повторяется.

Вот я тону в шипящей пене, вдыхаю ее и тут же засыпаю на четверть века.

Я просыпаюсь в солнечной комнате, как и в первый раз, выпрыгиваю в окно, бегу к реке. Подымаюсь по пыльной дороге на высокий берег. Иду по печальной аллее скорбного парка...

Когда померкла сцена, в которой Сурин развлекал больную игрой на скрипке и в воздухе явилась коляска с двумя лошадьми, мне вдруг показалось, что я вот-вот пущусь в повторное странствие по пройденному уже жизненному пути. Но это чувство миновало, и я увидел продолжение.

Коляска подъехала к чугунным воротам и остановилась.



Из ворот выбежала молоденькая девушка, обняла огненнелосую гостью, и они направились в сад, сели на скамейку и увлеченно о чем-то заговорили. А между тем в стороне беззаботно и легко закружился рой высохших листьев. Листья вертелись все быстрее, закрыли собой собеседниц и слились наконец в сплошной желтый круг. Внезапно он рассыпался на тысячу искр, померк, и тогда снова явилась мраморная статуя под старой липой в беседке...

Мне стало невыразимо грустно. Я тихо, пятясь, вышел из беседки. Передо мной на земле квадратная плита серого песчаника, черная вязь слов: «Анастасия Ивановна Яхромская. Родилась 16-III-2106 года. Скончалась 18-IX-2135 года»...

Обычай ставить на кладбище памятники, показывающие голографическим способом картины из жизни умершего, завелся еще до отлета с Земли нашего космического корабля. Я до сих пор не могу привыкнуть к этому обычаю. Слишком жива боль невозвратимой утраты, когда умерший на минуту как бы воскресает перед вами. Но, может быть, эта боль лучше душевной апатии?..

Впоследствии из рассказов я узнал, что Анастасия Ивановна Яхромская была замужем за преподавателем художественного

училища — Павлом Васильевичем Яхромским. Сурин и муж Анастасии Ивановны учились в детстве в одной школе и под-держивали между собой близкую дружбу. Поженились Яхромские в 2127 году, когда Сурин был в отъезде. Однажды, ката-ясь на лодке, Анастасия Ивановна неудачно упала на спину, повредив себе позвоночник, отчего более двух лет неподвижно пролежала в постели. Во время болезни Анастасию Ивановну часто навещал Сурин. Иногда он улаживал больную игрой на скрипке. Сурин с детства был неравнодушен к Анастасии Ива-новне, но теперь мало-помалу его любовь достигла такой силы, что он почувствовал невозможность продолжать свои встречи с Яхромскими и решил навсегда расстаться с ними, отпра-вившись в космическое путешествие.

Анастасия Ивановна была до крайности удручена разлукой и, хотя старалась это скрыть, все же некоторыми поступками дала мужу повод догадаться что любит Сурина. Будучи истин-но великодушным человеком, Павел Васильевич стал упраши-вать жену лечь под анабиоз, чтобы дожидаться возвращения любимого человека из космического полета. Анастасия Ивано-вна не соглашалась на это.

Она скончалась от болезни, связанной со старой травмой по-звоночника.

Прочтя на плите надпись, я предался грустным размышле-ниям, не слишком, впрочем, продолжительным. Я чувствовал себя очень утомленным от обилия впечатлений и решил поско-рее вернуться домой. Идя по парку, я еще несколько раз на-блюдал голографические видения, но нигде больше не остано-вливался и вскоре вышел к воротам. Оглядевшись, я двинулся в обратный путь.

Спускаясь с холма, я остановился, чтобы пропустить стран-ную процессию. Мне навстречу шел по дороге мальчик лет десяти, держа в руке много тонких веревочек. К ним было при-вязано с полсотни маленьких, ростом не более полуметра, необыкновенных человечков, разряженных в дикий костю-мы. Они мерно маршировали по дороге, высоко подымая свои запыленные ножки. Тут были уродливые лысые горбуны, и одетые в белое юноши с напудренными лицами, и миниатюр-ные красавицы с фантастическими прическами, и запорожцы в широценных шароварах, и бородатые индусы в тюрбанах с пав-линьими перьями. Я никогда не видел ничего подобного и очень удивился. Когда мальчик поравнялся со мной, я с некоторой робостью спросил:

— Простите за беспокойство. Скажите, пожалуйста, кто та-кие эти люди и почему вы их связали? И куда вы их ведете? Мальчик недоуменно посмотрел на меня, пожал плечами и ответил:

— Это вовсе не люди, а механические куклы. Мне одному скучно купаться, вот я и беру их с собой на берег реки. Теперь мы возвращаемся в театр. Ты разве никогда в нем не был?

— Нет.

— Странно!

Мальчик поспешно задержал веревочки. Удивительная колон-на замаршировала быстрее и скоро скрылась за холмом...

Вопреки ожиданиям мое утреннее отсутствие не только никого не удивило, но осталось незамеченным. Отец все еще спал, а мать совершенно спокойно окликнула меня из окна, когда я подходил к дому. Очевидно, она решила, что я только сейчас пробудился от анабиоза и вышел в сад обыкновенным путем, через дверь...

Странное дело! Эти механические куклы занимали мое воображение в гораздо большей степени, чем все остальное.

Я весь был наполнен ими и на следующий день, когда отец и явившийся к нам в гости дядя Мирон расспрашивали меня о моих переживаниях. Сами они, хотя тоже испытали «смещения сознания по мировым линиям», но гораздо менее продолжительные, чем мои по субъективному ощущению времени. Вообще, должно быть, кроме меня, один лишь капитан из всех участников полета не минуточку-другую, а целые часы прожил повторно. Это обстоятельство и сделало его способным всерьез поверить в свою идею, которая сперва пришла ему в голову лишь в качестве совершенно фантастической абстракции.

Немало пришлось отцу и дяде Мирону преподавать мне новых истин, прежде чем я пожелал отвечать на их вопросы. Я шалил, дурачился, пока они не сочли необходимым разъяснить мне суть метаперламентаальной теории. Самую трудную часть объяснений взял на себя дядя Мирон.

— Знаешь ли ты, что такое мировая линия? — обратился он ко мне, чертя пальцем в воздухе.

— Знаю, — ответил я, болтая ногами. — А почему вы теперь старше папы, а раньше были одинаковые?

— Потому что на пути корабля оказалось большое скопление атомов-метеоритов. Чтобы его облететь, понадобилось изменить маршрут. Пришлось очень долго вести корабль вручную, поэтому весь экипаж не мог одновременно лечь под анабиоз. Я лег на пять лет позже папы. А наш капитан и Николай Петрович Сурин — ты помнишь Сурина? — они вообще под анабиоз не ложились...

— Значит, они теперь, наверно, старые?

— Они уже умерли. Сурин умер три года назад, еще в космосе, а капитан умер в прошлом году, уже на Земле...

— Так сколько же я проспал на Земле под анабиозом?

— Почти целый год.

— Почему так долго?

— Потому что по измененному маршруту корабль вернулся на Землю годом раньше, чем предполагалось. На пути корабля оказалось гравитационное поле от нескольких черных дыр. Оно разогнало нас до огромной скорости.

Я задумался.

— Мировая линия — это которую пряла богиня Клото — одна из трех Мойр. Она была дочерью Зевса и Фемиды, дочери Урана, — заявил я после некоторого молчания.

— Нет, ты ошибся, — ответил мне дядя Мирон, улыбаясь, — богиня Клото пряла не мировую линию, а нить жизни. Но должен признать, что это две очень похожие вещи. Мне это как-то не приходило в голову.

— Я уже знаю! Знаю! — закричал я с торжеством, вспо-

мнив один из уроков по физике. — Мировая линия — это траектория тела в пространстве-времени!

— Отчасти правильно. Но я хочу, чтобы ты понимал суть дела.

Дядя МIRON взглянул на потолок и продолжал:

— Вот видишь, по потолку ползает муха?

— Вижу.

— Очень хорошо. Теперь представь, что перемещение на один сантиметр вниз соответствует секунде времени.

— Я не понимаю...

— Неважно. Веди мысленно линию от мухи вниз так, чтобы ее конец оставался бы все время на одной вертикали под ней, как бы она ни ползала. Но при этом он каждую секунду должен опускаться вниз на сантиметр. Чуть упрощая дело, можно считать, что это и будет мировая линия мухи.

— А если муха станет летать?

— Тогда ничего не выйдет. Но сейчас она еще ползает по потолку.

— Сейчас она сидит на месте.

— Значит, ее мировая линия движется вертикально вниз со скоростью один сантиметр в секунду.

— А теперь она поползла к окну.

— Значит, ее мировая линия пошла теперь наклонно, в сторону окна.

— А если муха все-таки станет летать?

— Тогда нам придется перебраться в четвертое измерение. Вообрази три координатные оси, одну — направленную вверх, другую — вперед, а третью — вправо, и предположи, чисто формально, что есть еще одна ось, перпендикулярная к этим трем. На ней мы будем откладывать время.

— Один сантиметр по ней считается за секунду?

— Ну, хотя бы так. И тогда мировая линия мухи протянется между этими четырьмя осями.

— Я помню! Отметки на пространственных осях определяют положение точки в пространстве, а отметка на оси времени определит соответствующий момент времени, — отбарабанил я когда-то слышанную фразу.

— Правильно, только надо было сказать не «точки», а «мухи». Мы же говорим про муху.

— А муха же большая.

— Ну, значит, ее мировая линия будет толстая.

— А у человека мировая линия совсем толстая?

— Вообще-то правильнее было бы говорить про пучок мировых линий. Впрочем, это не так уж важно...

— А наш капитан придумал метаперламентальную теорию перемещения сознаний по мировым линиям, но вы с этой теорией не согласны!

— Зачем ты произносишь слова, которых не понимаешь? Наш капитан предположил, что имеется не одно, а два времени. Однако мы этого не замечаем, потому что все процессы, в том числе и наше сознание, обычно протекают абсолютно

симметрично по отношению к обоим временам. Поэтому тот факт, что существует не одно время, а два, обычно ни в чем не проявляется. Но когда мы были вблизи тех гигантских атомов-метеоритов, их совокупное излучение как бы толкнуло наше сознание, нарушив симметрию этого процесса относительно двух времен. Получилось так, что по отношению к одному из этих времен наше сознание задвигалось взад-вперед по мировой линии нашего тела в дополнительном пространстве-времени...

— Вот ты на что обрати внимание, — сказал отец, трогая меня за руку, — мировая линия тела — это в некотором смысле само тело и есть. Ведь это просто совокупность всех занимаемых телом пространственно-временных точек. Поэтому даже и при возвратном движении сознания по мировой линии оно вовсе не покидает тела. Более того, по метаперламентальной теории и самое обычное человеческое чувство движения времени происходит от движения сознания по мировой линии тела в дополнительном к каждому из двух времен пространстве-времени...

— Но с этой теорией вовсе не обязательно соглашаться, — заметил дядя Мирон. — Я, например, решительно с ней не согласен. Полный, абсолютный детерминизм...

— А я согласен! — выкрикнул я с ликованием. — Мое сознание целый день двигалось взад-вперед по мировой линии. А у реки, там, за окном, я побывал у перевернутой лодки еще до теперешнего времени уже три раза!

— Ну так расскажи! — в один голос воскликнули папа и дядя Мирон.

Однако я предпочел туманное изложение моих собственных космогонических идей, замечая время от времени, что поскольку они являются истинами в последней инстанции, то нет особой нужды обращать много внимания на факты. Папа слушал, слушал и наконец не выдержал.

— На факты всегда надо обращать величайшее внимание! — воскликнул он. — А кто этого не делает, тот непременно рано или поздно останется в дураках!

— Ты пойми, что нам очень важно знать все, что ты испытывал, — сказал дядя Мирон.

— Твои впечатления имеют громадное значение для науки, — подхватил папа.

— Причем почти в равной мере для всех наук, — добавил дядя Мирон.

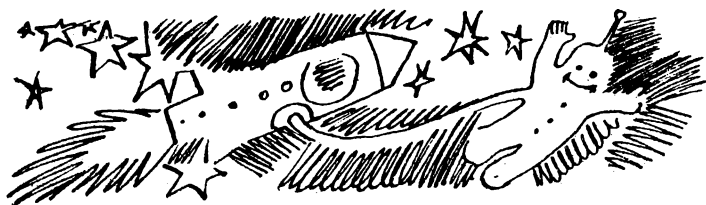
Очень польщенный моим огромным значением в равной мере для всех наук, я принялся рассказывать и завершил рассказ описанием встречи с механическими куклами...

Мне не раз доводилось их видеть с тех пор. Больше они уже не производили на меня того первого разительного впечатления. Но я хорошо знаю, как мне их суждено однажды увидеть.

Я буду тогда стоять посреди наполненной солнцем и людьми пыльной площади с вертящимися на ней каруселями и дух захватывающими перекидными колесами. Народ будет толпиться

возле шалашей и смотреть кукольные представления. Я непременно удивлюсь тому, как хорошо сделаны куклы. Они мне покажутся живыми. В ближайшем шалаше будут давать шекспировский «Сон в летнюю ночь», и маленькие светящиеся феи поведут там свои хороводы между высокими картонными стеблями...

В снующей толпе покажется знакомое лицо, и я помашу тому человеку рукой. И может быть, затем я снова услышу межзвездные звоны и опять окажусь на космическом корабле перед шкафом с медицинскими приборами. Но тогда я уж постараюсь не упускать возможности поискать богиню Клото...





Повесть

1

Змея медленно закручивала тугие кольца, готовясь к броску. Холодные немигающие глаза полуметрового гада неотрывно следили за человеком, раздвоенный язык часто мелькал в приоткрытой пасти, в которой угадывались смертоносные зубы-крючья. Скользящая чешуйчатая кожа переливалась при свете люминесцентных ламп яркими диковинными узорами. Тихое шуршание трущихся колец неожиданно переросло в ледянящий душу треск, словно где-то рядом загремели испанские кастаньеты. Бешеная скорость оранжевой искрой вспыхнула в глубине змеиних глаз, плоская треугольная голова с еле слышимым уху свистом метнулась вперед — и тут же ее тело взмыло в воздухе, извиваясь в цепких человеческих руках: долей секунды раньше невысокий худощавый мужчина в белом

накрахмаленном халате цепко схватил змею выше головы. Со злобным шипением змея вцепилась в край стеклянной чашки, струйки яда окропили ее стенки и скатились на дно. Человек ловко зашвырнул ее в большую сетчатую клетку и захлопнул дверцу-крышку.

— Ах, какая красавица эта наша африканочка! — Грузный мужчина в очках подошел к клетке, где в бессильной злобе металась змея, с силой кидая свое мускулистое тело на стенки. — Но злюка... Кстати, Олег Гордеевич, я, как ваш непосредственный начальник, впредь запрещаю подобные трюки. Это не цирк, а серпентарий, и вы не факир, а научный сотрудник. Элементарные правила техники безопасности, коллега, нужно соблюдать неукоснительно. Мне ли вам объяснять, что эта змея чрезвычайно опасна.

— Извините, Борис Антонович, больше не повторится...

— И еще, Олег Гордеевич, там змееловы привезли партию гюрз, прошу вас проследить за их размещением. Завхоза я уже предупредил...

— Хорошо, иду...

Некоторое время после ухода Бориса Антоновича в лаборатории было спокойно, и только неукротимая африканская гремучая змея продолжала бушевать в своей клетке. Олег Гордеевич снял халат, подошел вплотную к клетке и с каким-то странным выражением на лице долго смотрел на змею.

— Соня, займись африканкой. Покорми ее как следует...

— Ой, Олег Гордеевич! Что с вами? На вас лица нет. — Круглолицая русоволосая девушка испуганно смотрела на него из-за широкого стола, уставленного пробирками, колбами, различной формы банками и прочими лабораторными принадлежностями.

— Что? А-а, пустяки. Голова... Устал... Сейчас все пройдет... Соня, пожалуйста, скажи завхозу, пусть он меня не ждет, сам принимает гюрз. Полежу немного...

Поздно вечером Олег Гордеевич вошел в кабинет директора серпентария.

— Борис Антонович! Прошу вас, предоставьте мне пять дней отгулов в счет отпуска...

2

Просторная комната напоминала склад антиквариата. Массивное вычурное бра в углу наполняло ее таинственными полутенями; солидная бронза старинных подсвечников на резном секретере работы французских мастеров XIX века подчеркивала некоторую тяжеловесность интерьера. Несколько старинных икон висели на стенах вперемежку с картинами. В простенке между окнами высился дубовый шкаф с книгами, преимущественно старинными фолиантами в добротных кожаных переплетах. Посреди комнаты стоял круглый стол с резными ножками, покрытый бархатной скатертью с кистями. У стола сидел мужчина лет пятидесяти

и курил. Небольшая бородка с проседью обрамляла крупное скуластое лицо, массивный крючковатый нос нависал над седой щетиной усов, серо-стального цвета глаза тонули среди кустистых бровей. Смуглые тонкие пальцы беспокойно выбивали на крышке стола еле слышную дробь, которая влеталась в размеренное тиканье настенных часов. Неожиданно за плотно прикрытой дверью в соседней комнате раздался скрип кровати, покашливание. Мужчина вскочил, пошел на цыпочках к дверному проему и на некоторое время застыл, прислушиваясь.

Тихий стук в окно ворвался барабанным боем в пыльную тишину мрачной комнаты, и мужчина опрометью кинулся к входной двери.

— Почему так поздно?

— Не мог раньше, объясню потом...

— Документы принес?

— А ты как думаешь? На, возьми, старый скупердай.

— Тише, ты..

— Тут кто-то еще есть?

— Да. Жена... В спальне.

— Фю-у... Вот это номер... Что же ты раньше ничего не сказал? А теперь как?

— Не беспокойся, это моя забота... Что Богдан еще передал?

— Посылки твои получил в целости и сохранности.

— Спасибо. Ты, надеюсь, с машиной?

— Ясное дело. Как договорились...

— Когда уезжаешь?

— Через три дня.

— Возьми деньги — здесь пять тысяч. Пригодятся...

— Ого! Не ожидал... Пригодятся, ясное дело. Сам знаешь, у меня негусто... Благодарствую.

— День прибытия тебе сообщили?

— Там все написано. Прочтешь — сожги.

— Как твои родственники?

— Живут, что им станется. Ждут не дождутся, пока уеду. Им, видишь ли, не нравятся мои откровения. Ну и плевать! Каждый живет как может. Я не исключение...

— Ты за собой, случаем, «хвоста» не приволок?

— Обижаешь... Потому и опоздал. Все чисто. Сам знаешь, какие «университеты» заканчивал...

— Ну ладно, ладно. Береженого бог бережет...

— И то правда... Ну что, пошли?

— Не торопись. Всему свое время. Придется еще часок другой обождать.

— Это еще зачем?

— Узнаешь... Можешь пока отдохнуть на диване.

— Ну как знаешь...

Высокий плечистый ночной гость налил себе рюмку водки, одним махом опрокинул ее в рот и, на ходу стаскивая клетчатый пиджак, направился к дивану.

— Вздремнуть успею?

— Успеешь, успеешь... Надеюсь, ты не храпишь?

— Отучили... Не беспокойся.

Хозяин, бесшумно ступая по толстому пушистому ковру, который укрывал полкомнаты-гостиной, прошел на кухню. Часы пробили полночь.

3

Лохматый пес, гремя цепью, метался по двору и тихонько скулил. Затем, усевшись у порога, поднял лобастую голову и завыл. Щелкнул замок, и на крыльцо дома выскочила хозяйка в длинной ночной рубаше.

— Рябко! Пошел вон! Гаспид лохматый! Ни днем ни ночью от тебя покоя нет...

Пес, виновато повизгивая, отбежал к сараю и прилег у бочки с водой. Предутренняя заря уже успела покрасить в малиновый цвет полнеба. В маленькой рощице, позади дома, рассыпался дробной трелью неустойчивый соловей, запели горластые петухи — им тоже захотелось включиться в многоголосый предутренний хор, — где-то заблеяла коза, замычал теленок, которому не терпелось побыстрее выскочить на зеленый луг.

Хозяйка, еще раз цыкнув на присмирившего пса, снова направилась было домой, как вдруг страшный грохот обрушился на окраину, вмиг разметав сонную вялость раннего рассвета. Из соседнего дома полыхнул столб пламени, черный дым рваными клочьями повалил из окон.

— Ой, божечки! Ой, люденьки! Конец света! Горим! Спаси-и-ите!

Улицу быстро заполнили полураздетые люди. Ошалевшая хозяйка вытащила на подворье мужа, который, прыгая на одной ноге, никак не мог попасть другой в штанину.

— Ой, горим! Ой, спасайте, люди добрые! Да что ж ты стоишь, Иван, бери ведра! Да не там, пьянчуга чертов, в сарае! О господи, до чего горилка довела, где ты взялся на мою голову!..

Пожарные успели к шапочному разбору. Дом уже догорал, среди шипящих черных бревен копошились почерневшие от сажи люди с баграми и лопатами.

— Ну, слава богу, прибыли соколики! — Хромой дедок сплунул в досаде и заковылял вдоль улицы. — Едрена феня.

— Не обращайтесь внимания, это он у нас завсегда такой, — шагнул к смущенному пожарнику один из мужчин. — Милицию нужно вызывать. Дом взорвался... А почему — ляд его знает. Полыхнул, как спичка...

— Жертвы есть?

Толпа молча расступилась, и пожарники прошли к старому изодранному одеялу, под которым едва угадывались бесформенные останки человеческих тел.

— Двое... Муж и жена. Ковальчуки. Одни кости остались.

Через день комиссия установила причину пожара: из-за небрежности погибших хозяев дома взорвался газ.

Профессор Слипчук умирал долго и тяжело. Разметавшись на больничной койке, глухо стонал, время от времени что-то бессвязно выкрикивая. Сквозь сухие запекшиеся губы слова вылетали с трудом, со скрипом. Три профессора, врачи высочайшей квалификации, двое суток боролись за жизнь своего коллеги — и тщетно. Даже точный диагноз, к вящему стыду медицинских светил, им поставить не удалось. Все сошлось на том, что случай уникальный — внутреннее кровоизлияние. Без видимых причин. Еще два дня назад могучий бас здоровья профессора слышно было во всех уголках клиники, и, казалось, ничто не предвещало такой скорой кончины. Тем более что профессор готовился к заграничной командировке и совсем недавно прошел всестороннее медицинское обследование — заключение о состоянии здоровья 58-летнего ученого было вполне удовлетворительным. И вот теперь... У двери палаты рыдали безутешные жена и дочь Слипчука, толпились его ученики и ассистенты. К исходу дня жизнь оставила профессора...

В кабинете начальника УВД полковника Шумко всегда царил полумрак. Тяжелые, давно вышедшие из моды плюшевые шторы, несколько столов, составленных буквой Т, прочные чешские стулья с жесткими сиденьями, большой сейф, покрашенный «под дерево», — вот и вся весьма скромная обстановка кабинета.

— Василий Кириллович, к вам посетительница... — Секретарша бесшумно проскользнула в приоткрытую дверь кабинета.

— Вера, я же просил всех посетителей направлять к моему заместителю. По крайней мере до завтра...

— Простите, но это жена умершего профессора Слипчука...

— Что? Проси немедленно. Все телефоны переключи на себя — я занят...

Ирина Прокоповна, жена профессора, была односельчанка полковника и даже приходилась ему какой-то дальней родственницей. Правда, встречались они очень редко, но были в хороших, дружеских отношениях уже много лет, по крайней мере с тех пор, как молодой капитан Шумко демобилизовался после разгрома японцев, где он командовал ротой, и начал работать оперативным уполномоченным уголовного розыска города, в котором вскоре поселился и молодой врач Слипчук.

— Заходи, Ира, здравствуй.

— Здравствуй, Вася...

— Садись.

— Спасибо, Вася, я к тебе по делу. Не знаю, что это мо-

жет значить, но вся эта история настолько невероятна... Я прямо не знаю, что и думать...

— Что за история?

— Понимаешь, после смерти Коли я нечаянно нашла в его бумагах вот эту записку...

И Ирина Прокоповна положила на стол перед полковником измятый листок бумаги с машинописным текстом...

Начальник уголовного розыска майор Клебанов уже было собрался выйти из своего кабинета, как включилось переговорное устройство.

— Григорий Яковлевич, срочно зайди ко мне.

— Иду, товарищ полковник...

Шумко, озабоченный и не в меру серьезный, заложив руки за спину, выпешивал по кабинету.

— Слушаю, товарищ полковник.

— Григорий Яковлевич, тебе известны обстоятельства смерти профессора Слипчука?

— Да, в общих чертах.

— Ну и?..

— Криминала, насколько я знаю, нет. Правда, болезнь какая-то странная... И заключение медэкспертов довольно-таки невнятное. Но медицина ведь не всесильна. И не все тайны человеческого организма ей открыты и понятны.

— То-то и оно... Поторопились, мне кажется, медэксперты. Придется теперь нам в этих тайнах разбираться. На-ка прочти...

Ничем не примечательный измятый листок бумаги и несколько машинописных строчек: «Слипчук! Я выполнил свое обещание. Ты умрешь страшной смертью 10 июня. Я долго ждал. Часмести пробил. До встречи на том свете.

Гайворон».

— Товарищ полковник! Но ведь Слипчук действительно умер вечером десятого июня!

4

Старший инспектор уголовного розыска капитан Бикезин с пухлой папкой в руках почти бегом поднимался по лестнице на второй этаж горотдела милиции, где находился кабинет полковника Шумко, — он опаздывал к нему на доклад.

— Здравия желаю, товарищ полковник!

— Здравствуй, капитан. Ну что там у тебя новенького? Садись. Рассказывай.

— Машинку, на которой отпечатана записка, найти пока не удалось. Судмедэксперты тоже зашли в тупик. Говорят, что-то есть, интуитивно чувствуют, но доказать не в состоя-

нии — случай совершенно из ряда вон выходящий. Просят откомандировать к нам из Москвы доктора Лазарева. Это один из лучших судмедэкспертов в стране.

— Набросайте текст телетайпрограммы, я подпишу.

— Пожалуйста, вот...

— Хорошо... Что еще?

— Данные по Гайворону.

Он подал полковнику листок, на котором было написано следующее:

«...Гайворон — подпольная бандеровская кличка Мирослава Баняка. Уроженец Рахова, по профессии ветеринарный фельдшер. Осенью 1945 года возглавил банду бандеровцев и был убит во время одной из операций «ястребков».

— Какое отношение он имеет к профессору Слипчуку?

— Выяснить пока не удалось. Правда, профессор тоже уроженец Рахова, но, со слов его жены, Слипчук никогда не упоминал Гайворона-Баняка.

— Это ничего не доказывает. Какова версия?

— Простите, товарищ полковник, но мы еще работаем с друзьями и знакомыми профессора. Потому одной версии...

— Плохо, очень плохо, капитан. Ты даже не можешь ответить на вопрос: убийство это или болезнь? Когда была отпечатана записка?

— Примерно пару недель назад согласно заключению НТО.

— Значит, все-таки вариант убийства не исключен?

— Думаю, что нет...

— Способ?..

— На отравление не похоже, так, по крайней мере, утверждают врачи.

— Ну что же, тогда до завтра. Надеюсь, к тому времени в конце концов что-либо прояснится...

Седой мужчина в круглых роговых очках стоял у двери кабинета Бикезина, время от времени поглядывая на часы.

— Вы ко мне?

— К вам. Вот повестка...

— Проходите в кабинет.

Усевшись на стул напротив капитана, он сказал:

— Моя фамилия Лубенец. Директор зоомагазина. Простите за нескромный вопрос: как вы узнали об этом?

— О чем?

— Ну об этой бумажке?..

— Какой бумажке?

— Вы разве не по этому поводу меня вызвали?

— Не знаю, о чем вы говорите. Просто нам нужно выяснить некоторые факты из биографии покойного профессора Слипчука, с которым, по нашим данным, вы были друзьями... Кстати, что это за бумажка?

— Вот, прошу...

Капитан Бикезин взял в руки небольшой листок — и не поверил своим глазам: точно такая же записка, что была

обнаружена у профессора Слипчука. Отличалась она от первой только фамилией и датой!

Через несколько минут в кабинете полковника Шумко майор Клебанов и капитан Бикезин внимательно слушали рассказ Лубенца о событиях тридцатилетней давности.

— ...Коля хорошо знал Гайворона еще по Рахову — они учились в одной школе, затем в ветеринарном училище. Знал и я его... Да и кто тогда в Рахове не знал старого Баняка, отца Мирослава, — мясника и лавочника? Он держал небольшую скотобойню и две или три лавки, в которых можно было купить все, что угодно, от иголки и куска ливерной колбасы до сенокосилки. Но вскоре пути Николая и Баняка-младшего разошлись, и они оказались по разные стороны баррикады: мы с Колей прошли с боями до Берлина, а Мирослав Баняк стал отъявленным бандитом... И только в сорок пятом наши дорожки волею случая перекрестились. Перед самой демобилизацией нашу часть отправили в Закарпатье, чтобы очистить Западную Украину от бандеровцев, которые затаились в своих «схронах» и по ночам терроризировали мирных жителей. Во время одной операции нам удалось захватить врасплох банду Гайворона и уничтожить ее...

— Когда к вам попала эта записка?

— Незадолго до смерти Николая. Я знал, что и ему кто-то прислал точно такую же — он мне позвонил на другой день. Тогда мы не придали этому значения, решили, что это чья-то недобрая шутка: об этой истории знали некоторые наши сослуживцы. Но когда Коля умер десятого июня!..

— Вы кого-нибудь подозреваете в этой, с позволения сказать, шутке?

— Нет, что вы!

— Кто-нибудь еще из ваших сослуживцев, участвовавших в разгроме банды Гайворона, живет в нашем городе?

— Да. Адвокат Михайлишин. Вы думаете?.. Нет, нет! Мы старые друзья, он и сейчас проходит курс лечения в какой-то клинике под Москвой: ожирение, астма и еще бог знает что. Это Коля направил его туда. За неделю до своей смерти.

— Понятно. Какое сегодня число?

— Пятнадцатое июня.

— А в записке дата, извините, вашей смерти обозначена семнадцатым?

— Да...

— Я не хочу вас пугать, но у меня к вам есть просьба...

— Пожалуйста.

— Мы примем некоторые меры предосторожности на эти дни. Возможно, это серьезно... И, если вы не возражаете, у вас в доме погостит капитан Бикезин.

— Да, конечно, я понимаю... Очень вам благодарен за заботу.

— И еще, придется вам недельку побыть затворником. С вашим начальством я переговорю.

— Согласен...

Директор зоомагазина жил неподалеку от пивоваренного завода, на окраине города. Чистенький свежепобеленный домик, крытый оцинкованным железом, запрятался в тени старого сада, посреди которого стояло несколько пчелиных ульев. По двору суматошливо металась насадка с цыплятами, около забора, у клеток с кроликами, важно расхаживали павлины.

В уютной гостиной Лубенец и Бикезин играли в шахматы: капитан уже вторые сутки сидел взаперти вместе с хозяином дома, который оказался веселым собеседником и хорошим рассказчиком. Но вместе с тем капитан ощущал какую-то внутреннюю настороженность Лубенца, всевозрастающее беспокойство особенно когда взгляд директора зоомагазина наткнулся на старинные громоздкие часы, которые размеренно тикали над диваном. Тогда он бледнел и подолгу задумывался над очередным ходом.

Глядя на него, и капитан тоже занервничал, сделал несколько ходов невпопад и неожиданно поймал себя на мысли, что ему очень хочется, чтобы этот день прошел как можно быстрее. Щемящее чувство неосознанной тревоги вползало в дом.

Из кухни в гостиную вошла жена Лубенца, Ольга Петровна, невысокая полная женщина в цветастом махровом халате.

— Прошу к столу! Пора уже обедать.

— Извините, Ольга Петровна, если вы не возражаете, я пока воздержусь... Если можно, сварите мне кофе.

— Хорошо, только вам придется обождать минут десять-пятнадцать.

— Спасибо, обожду.

Капитан вышел на застекленную веранду, закурил. Внимательно осмотрел подворье и кусок улицы с высокими стройными тополями. Несколько прохожих торопились по своим делам, стайка ребятишек играла в футбол на небольшой зеленой лужайке у водоразборной колонки. Бикезин включил портативную рацию, собираясь выйти на связь и и тут же пронзительный крик, полный смертельного ужаса, раздался из кухни, где обедали хозяева дома. У небольшого столика около газовой плиты, стоя на коленях, взмахивая руками Ольга Петровна, а на полу кухни хрипел в агонии директор зоомагазина Лубенец...

Он умер в полночь семнадцатого июня. Диагноз — внутреннее кровоизлияние.

Судмедэксперт, кандидат медицинских наук Лазарев, высокий, слегка сутуловатый мужчина, вошел в кабинет полковника Шумко, где уже сидели майор Клебанов и капитан Бикезин.

— Добрый день, Вениамин Алексеевич. Как успехи?
— Есть кое-что... Заключение сейчас печатают.
— Я бы просил ввести в курс дела товарищей, так сказать, из первых уст.

— Хорошо, товарищ полковник. В общем результаты получены довольно, интересные и, я бы сказал, неожиданные. Дело в том, что и профессор Слипчук, и Лубенец погибли в результате отравления. В обоих случаях причиной смерти явился яд из группы контактных.

— Простите, что значит контактный яд?

— Группа контактных ядов обширна и, насколько мне известно, недостаточно изучена. По крайней мере мне в моей работе пришлось столкнуться с ними только один раз. Это яды как растительного, так и животного происхождения, которые проникают через кожу.

— Почему наши медэксперты не смогли установить причину гибели профессора и Лубенца?

— Дело в том, что для нас это было полнейшей неожиданностью. Симптомы отравления этим ядом практически едва заметны, и даже при вскрытии невозможно точно определить причину смерти. Мне помогло одно обстоятельство — скорая смерть Лубенца. Признаки отравления были еще достаточно свежи. Кроме того, удалось установить, что доза контактного яда была чрезмерно велика и, судя по всему, попала в организм через кишечный тракт.

— То есть кто-то подсыпал яд в пищу Лубенцу?

— Подсыпал — это не совсем точно... Ну, в общем, этот вариант не исключен. Правда, есть одно «но»: мы исследовали пищу, одежду, посуду, домашнюю утварь в доме Лубенца и Слипчука — и ни малейшего намека на присутствие яда. Короче говоря — в этом вопросе зашли в тупик. Мистика — и только...

— Да-а, хорошая мистика... Задали вы нам задачку, Вениамин Алексеевич. Мертвецы встают из могил и отправляют на тот свет людей дьявольскими методами, не оставляя следов...

— Товарищ полковник! Надеюсь, вы понимаете, что мы сделали все зависящее от нас. Сегодня мы еще раз продублируем наши исследования, но боюсь, результат будет прежний.

— Перечень производных для изготовления контактного яда вы составили?

— Да, в заключении это указано.

— Ну а каким конкретным ядом отравлены Лубенец и Слипчук?

— Затрудняюсь ответить правильно на ваш вопрос. Могу сказать только, что яд животного происхождения, вероятнее всего — змеиный.

— Ну что же, Вениамин Алексеевич, спасибо. Не смею больше вас задерживать...

— Кстати, товарищ полковник, если вам понадобится высококвалифицированный эксперт-консультант по змеиным ядам, я могу одного порекомендовать. Однажды уже обра-

щались к нему, он приезжал к нам. Это кандидат медицинских наук Гостев. Диссертацию защищал именно по змеиным ядам. Правда, это очень сложный человек...

— Почему?

— Пристрастился к спиртному...

— Где он живет?

— В Средней Азии. У меня есть его адрес.

— Большое спасибо, Вениамин Алексеевич. Адрес Гостева вы нам, пожалуйста, оставьте...

Как только за Лазаревым закрылась дверь, полковник сказал:

— Должен вам сообщить, что оперативно-розыскные мероприятия будем осуществлять мы с вами. Будем работать... В загробную жизнь мы не верим — это уже плюс. Значит, изощренное, жестокое преступление. И убийца пока на свободе. Сидит где-то в своей норе и радуется: лапши нам, видите ли, на уши навешал. Посмотрим. Как у нас на Украине говорят: «Не кажы гоп...» Итак, майор, с чего начнем?

— Дело сложное, товарищ полковник... В помощь Бикезину думаю дать напарника — старшего лейтенанта Кравцова. Кроме этого, нужно срочно встретиться с Михайлишиным... И будем отрабатывать план розыскных мероприятий — есть у меня кое-какие соображения. Вечером доложу.

— Ладно. А вот капитану придется съездить к Среднюю Азию, к Гостеву. Время не терпит. Пусть медэксперты готовят все необходимое — и вперед.

7

Средняя Азия встретила Бикезина неимоверной жарой. Капитан терпеливо переносил тряску и клубы пыли, которые то и дело заползали в салон полнустого автобуса. Зелень оазисов постепенно уступала место чахлым кустарникам, среди которых перекатывались пушистые шары колючек. Затем и вовсе вид из окна автобуса стал безрадостным: желто-серые пески волнами уходили к горизонту, и только колея дороги нарушала скудное однообразие пустыни.

В серпентарий автобус пришел под вечер. К небольшим стандартным домикам примыкала высокая сетчатая изгородь, на которой висел выгоревший под солнцем транспарант с надписью «Осторожно — змеи!». В одном из домиков Бикезин нашел директора серпентария. В кабинете, кроме него, сидел молодой быстроглазый брюнет и что-то строил бисерным почерком, время от времени заглядывая в папку-скоросшиватель.

— Вы ко мне?

— Да. Старший инспектор уголовного розыска капитан Бикезин.

— Романов Борис Антонович. А это старший лейтенант милиции Ахмедов, наш участковый.

— По какому делу? — полюбопытствовал Ахмедов, крепко пожимая руку Бикезина. — Если не секрет, конечно...

— Мне нужно видеть Гостева. Насколько я знаю, он работает здесь.

— Что?! Гостева? — в один голос воскликнули Ахмедов и директор.

— Извините, что вас так удивило?

— Дело в том, что Гостев пропал, — волнуясь, ответил Романов, снял очки и принялся тщательно протирать стекла куском фланели. — Я виноват... Поздно спохватились...

— Как пропал? — Теперь пришла очередь удивиться капитану.

— Он отпросился у меня, чтобы съездить в Москву, к сыну с женой. Гостев развелся года два назад... Сказал мне, что сын в больнице и его присутствие в Москве крайне необходимо. Когда он в срок не возвратился обратно, я решил не поднимать шума: мало ли почему человек задерживается. Но когда он не появился и через неделю, я, знаете, разозлился: работы неуправляемый, а начальник лаборатории где-то разгуливает и даже не возьмет на себя труд хотя бы сообщить о причинах задержки. Заказал переговоры с Москвой, и представляете, Гостева там и близко не было. Мало того, оказалось, что и сын его в полном здравии. Значит, он меня обманул? Вот тогда я и позвонил в милицию...

— Плохо, очень плохо, — в сокрушении покачал головой капитан. — Это же надо так неудачно...

— Извините, зачем вам понадобился Гостев? — спросил Романов.

Бикезин коротко рассказал директору серпентария и Ахмедову суть дела, которое его привело сюда, а именно: для консультации по поводу определения наименования яда. Подробности, связанные с убийством профессора Слипчука и Лубенца, он опустил...

— Я думаю, что мы в состоянии вам помочь даже в отсутствие Гостева. Здесь работают очень способные и опытные специалисты. Так что, если не возражаете, мы проведем экспресс-анализ. Надеюсь, результаты будут положительные...

К обеду следующего дня данные экспресс-анализа были в руках Бикезина.

— Скажите, откуда это у вас? — сдерживая нетерпение, спросил директор серпентария.

— Почему это вас так заинтересовало?

— Дело в том, что это контактный яд. Вот состав, тут все расписано: ферменты, альбумины, глобулины, вода, соли... Но это не главное. Главное заключается в следующем: в качестве антикоагулянта применен яд гремучей африканской змеи!

— Что же здесь необычного?

— Видите ли, это особый подвид гремучих змей, водится только в определенных районах Южной Африки и в крайне незначительных количествах. И, самое главное, яд

этих змей в Советском Союзе имеется только у нас. В мизерных количествах. Мы лишь недавно начали его исследовать...

Когда директор серпентария рассказал об исчезновении Гостева, Бикезин вначале не придавал этому значения: мало ли причин может быть у человека, чтобы вовремя не появиться на работе! И уж тем более капитану не приходило в голову, что это исчезновение может быть как-то связано с порученным ему расследованием. Но стоило Романову упомянуть о яде гремучей африканской змеи, как он заволновался, почувствовал: вышел на след. Он принялся детально изучать биографию Гостева, его образ жизни, привычки, личные контакты, пытаясь найти какую-либо связь с событиями в их городе. И все было впустую: судя по полученным данным, Гостев никогда и ни при каких обстоятельствах не мог встречаться со Слипчуком и Лубенцом. Оставалось только предположить, что он передал яд неизвестному преступнику, который и воспользовался им, чтобы убить профессора и директора зоомагазина. Но из каких побуждений? Кому?

Только перед самым отъездом удалось установить интересный факт: оказалось, что Гостев несколько раз звонил по телефону в город, где работал Бикезин. Абонента установить было нетрудно — некий Ковальчук.

8

Полковник Шумко встретил Бикезина довольно прохладно.

— Вот что, Алексей, принимай отдел. Клебанову сделали сложную операцию, и дай бог, чтобы он приступил к работе хотя бы через полгода.

— Но я пока не смогу совмещать...

— Никаких «но», — перебил его полковник, хлопнув для убедительности ладонью по столу. — Другой кандидатуры у меня нет. Работу ты знаешь отлично, придется попотеть, дружище. Ну а теперь давай выкладывай, с чем приехал...

Он внимательно выслушал Бикезина и тут же позвонил в справочное.

— Ковальчук Федор Антонович... Ковальчук... Что-то знакомое... Постой, да это же лучший дантист нашего города!

Теперь вспомнил Ковальчука и капитан — ему случилось года четыре назад встречаться с ним. И убедиться, что слава лучшего зубного врача города вполне заслуженна, — пломбы, которые поставил ему Ковальчук, стояли до сих пор.

— Интересно... — Полковник задумчиво потер ладонью подбородок. — Слушай, капитан, как твои зубы? В порядке? Ну что же, придется искать в горотделе сотрудника, ко-

торый нуждается в срочной зубопротезной помощи... — Вдруг лицо его приобрело жесткое и сосредоточенное выражение. — Старею, Алеша, старею, — сказал он, не глядя на Бикезина. — А ведь мне докладывали... Забыл. Помер Ковальчук намедни. При весьма странных обстоятельствах, вместе с женой — взорвался газ в доме. При весьма странных — теперь это можно сказать с уверенностью. Прохлопали мы тогда, доверились пожарной инспекции, а теперь вон оно как оборачивается. Еще одна загадка в деле Слипчука и Лубенца.

— Неужели Гостев?..

— Будем искать Гостева. И трудно детально разобраться в истории со взрывом... И еще одно, пожалуй, самое главное в теперешней ситуации — Михайлишин. Сейчас он под контролем наших московских товарищей. Должен вернуться домой завтра — время прибытия уточним. Нужно смотреть в оба. Если и эта ниточка оборвется, грош нам с тобой цена, капитан.

Адвокат Михайлишин жил в пятиэтажном доме недалеко от автовокзала. Жена его умерла три года назад, дети — сын и дочка — проживали в других городах.

В квартиру адвоката Бикезин вошел почти сразу же после его приезда. Тот стоял в прихожей и просматривал корреспонденцию, накопившуюся в его отсутствие.

— Если вы ко мне по делам судебским, я пока не работаю. Приходите через неделю.

— Нет, товарищ Михайлишин. У меня дело несколько иного порядка. Прошу, — капитан протянул адвокату свое удостоверение.

— Ну что же, тогда проходите. Я к вашим услугам. Извините за беспорядок в квартире — долго отсутствовал... Садитесь сюда, пожалуйста. Если вы не возражаете, поставлю чайник и просмотрю корреспонденцию — не терпится. Это займет две-три минуты.

Адвокат принялся бегло просматривать содержимое конвертов. Он был выше среднего роста, плечистый, волосы светло-русые, лицо загорелое и слегка усталое с дороги, руки крепкие, жилистые, с хорошо ухоженными ногтями. «Крепкий мужик», — подумал капитан и невольно обратил внимание на костюм адвоката — он висел на нем нелепыми складками, словно был с чужого плеча и размера на два больше.

— Удивлены? — засмеялся адвокат, подметив недоумение Бикезина. — Лучше комплимента для меня сейчас не придумаешь. Вы посмотрели бы на мою фигуру месяц назад — пуговицы этого пиджака застегивал с трудом. Не верите? Ей-ей! Лечился голоданием — и вот результат. Даже астма сдалась. Теперь буду бегать, в бассейн ходить — знаете, как это прекрасно — чувствовать себя здоровым? А, что я вам об этом говорю! Завидую вашей молодости, по-хорошему завидую.

Адвокат раскрыл еще один конверт, прочитал письмо и неожиданно с раздражением протянул его капитану.

— Черт знает что! Ахинея какая-то! Вы только посмотрите. Кто мог написать такую чушь?..

Капитан взглянул на листок бумаги и похолодел — еще одна записка! Число! Дата смерти — двадцать второго июня... Но ведь сегодня двадцать пятое! Капитан пристально, в упор, посмотрел на Михайлишина. В глазах адвоката светилось искреннее недоумение и неподдельное негодование.

9

Полковник Василий Кириллович Шумко в последнее время чувствовал себя неважно. Застарелая язва все больше и больше давала о себе знать тупой неутихающей болью и спазмами в желудке. По ночам полковник ворочался, кричал, то и дело поднимался с постели, шел на кухню и глотал очередную порцию лекарств. Но это мало помогало. И тогда он одевался и выходил на улицу. Побродив часок-другой по пустынному ночному городу, снова ложился в постель и только тогда засыпал тревожным сном. Ко всему прочему его угнетала пустота в квартире: дочка забрала внуков и уехала к мужу в Магадан, а жену направили в двухмесячную заграничную командировку. Потому полковник дольше обычного задерживался на работе. Правда, последние две недели дело Слипчука и Лубенца отнимало почти все время. Но пока что оно не сдвинулось с нулевой отметки. Гостей словно в воду канул, даже объявленный всеобщий розыск ничего не давал. Повторная экспертиза обстоятельств гибели Ковальчука с женой с привлечением самых опытных специалистов тоже не добавила ничего нового. Заключение прежнее: взрыв газа вызван электрической искрой при включении выключателя. Дом сгорел дотла, что еще больше усугубило и так многотрудные изыскания экспертов-криминалистов. Не лучше было и с одним из главных вопросов следствия — каким образом яд попал в организм профессора и Лубенца...

Полковник Шумко, тяжело вздохнув, нажал кнопку селектора:

— Капитан Бикезин! Зайди с материалами ко мне...

Бикезин, как всегда подтянутый, в ладно сшитом костюме стального цвета, молча раскрыл папку и протянул Шумко несколько листов с машинописным текстом.

— Это все?

— Пока да. Но здесь есть кое-что интересное. Вот. — Он открыл один листок.

«...Ковальчук Ф. А., 1923 года рождения, уроженец города Ивано-Франковска, беспартийный, профессия — зубной врач. В городе с 1958 года. Родители умерли, детей нет... Судим не был. Родственников за границей нет...»

— Данные проверены?

— В настоящий момент уточняем.

— Ну так что же здесь примечательного?

— А вот здесь, ниже...

Ковальчук был взят на заметку ОБХСС в связи с незаконными занятиями частной зубоврачебной практикой. Но потом он приобрел патент, и все обвинения по этому поводу в его адрес отпали.

— На каком основании ему был выдан патент?

— История темная и чрезвычайно запутанная. Работаем и в этом направлении.

— Ясно. Что еще?

— Затем он опять попал в поле зрения ОБХСС, на этот раз в связи с золотом. По некоторым косвенным данным, Ковальчук скупал золото, которое затем применял в своей зубоврачебной практике. Доказать это не удалось, но свой патент он потерял и опять пошел работать в городскую стоматологическую поликлинику...

— Почему отобрали патент?

— Дело в том, что ему было запрещено ставить зубы и коронки из золота клиентов. А он этим запретом пренебрег. Криминала, в общем-то, здесь большого не нашли, тем более что его клиенты в один голос твердили о непричастности Ковальчука к махинациям с золотом.

— Криминала, говоришь, не нашли? М-да... Ладно, придется поднять и это дело из архива...

— И самое главное — опять-таки по косвенным данным — Ковальчук занимался скупкой антиквариата, в частности старинных икон. И притом ворочал большими суммами.

— Вот это уже кое-что!

— Да, товарищ полковник, я тоже так думаю. И занимаюсь в настоящее время отработкой его связей среди антикваров.

— Что у Лазарева?

— Все то же... Изменений в лучшую сторону пока никаких.

— Плохо, Алексей, очень плохо...

— Товарищ полковник! Я сейчас ума не приложу, что мне предпринять по отношению к Михайлишину.

— Ты предполагаешь, что он замешан в убийстве?

— Трудно сказать... Меня очень волнует записка. Почему он остался жив? Ведь до сих пор убийца был весьма точен в своих обещаниях.

— Предполагаешь, что Михайлишин сочинил себе такое оригинальное алиби?

— Алиби у него стопроцентное. Это мы уже проверили.

— Михайлишина я знаю много лет, и очень сомневаюсь в его причастности к убийству. А вот записка. Я считаю, это все-таки очень серьезно. Боюсь, что жизнь адвоката под угрозой.

Полковник, тяжело вздохнув, поднялся из-за стола и пошел к окну. Солнце уже закатилось, оставив после себя золотисто-розовые следы на курчавых облаках, которые толпились у края темно-фиолетовой тучи. Зигзаги молний кром-

сали ее тяжелое тело, настойчиво подгоняя поближе к городу. Ночь обещала пролиться живительной влагой на иссушенную зноем землю.

10

Маленький антикварный магазин находился в полуподвальном помещении старого особняка, приспособленного под различные учреждения. Обшарпанные ступени привели Бикезина в просторный зал с серым, в ржавых разводах потолком. Вдоль стен стояли обломки мраморных колонн, какие-то горшки самых разнообразных форм и размеров, деревянный резной столик на причудливо изогнутых ножках, огромные канделябры с искорками облупившейся позолоты. В глубине магазина, у длинного застекленного прилавка, стояли две женщины, рассматривали красивый фарфоровый сервиз. Под стеклом витрин уютно расположились старинные фолианты с застевками, маленькие иконки, разнообразные поделки из яшмы, малахита, сердолика и других камней, бронзовые статуэтки, пепельницы, старинный письменный прибор, портсигары, бумы, гребни, кучи всякой антикварной мелочи.

— Вы что-то хотели купить? — Невысокий полноватый человек в старом потертом халате неопределенного цвета приветливо улыбнулся Бикезину из-за прилавка.

— Нет, нет, я совсем по другому делу. — Капитан протянул свое удостоверение.

— Опять милиция! Месяц назад — милиция, вчера — милиция, сегодня тоже. Бог мой, что такое? Чем провинился этот несчастный магазин?..

— Извините, с кем имею честь?

— Либерман, Давид Моисеевич. Директор, продавец, грузчик, уборщица и еще бог знает кто в одном лице...

— Мне нужно с вами побеседовать.

— О, я так и знал. Сначала беседуют, потом забирают... А потом извиняются и выпускают. Что можно иметь с этого барахла? Кроме неприятностей?..

— Давид Моисеевич! Я к вам пришел, представьте себе, на консультацию.

— На консультацию? Это меняет дело! Вы правильно пришли, молодой человек. Простите, товарищ капитан... Давида Либермана многие знают. Он может ответить на любой вопрос касательно антиквариата, оценить правильно любую вещь...

— Во-первых, Давид Моисеевич, этот разговор должен остаться между нами...

— Ой вей! О чем речь?! Я буду нем как могила.

— Во-вторых, насколько мне известно, через ваш магазин вместе с различной дребеденью иногда проходят вещи большой исторической ценности, которые, естественно, и стоят приличную сумму.

- Да, вы правы. Но что вас конкретно интересует?
- Иконы. Как производится купля-продажа, цены и кто покупает?
- Если на комиссию поступают иконы, то прежде всего их осматривает эксперт художественного фонда. Некоторые из них, имеющие большую ценность, покупают по рекомендации эксперта музеев. Остальные идут в продажу.
- А цены?
- В пределах от пятидесяти рублей и до пяти тысяч.
- Да-а, приличные суммы... И покупают?
- Вы спрашиваете!..
- А кто постоянно скупает иконы высокой стоимости?
- У меня есть квитанции, но я могу и так назвать, если это вам нужно.
- Пожалуйста...
- Колядко, Зильберштейн, Козлов, Брагин... Ну и еще, пожалуй, Сосновский.
- А Ковальчук у вас покупал иконы?
- Товарищ капитан! Так бы вы сразу и сказали, что вам нужен Ковальчук. О-о, это был великий человек! Он сюда и не заходил, его наш хлам не интересовал. Ковальчук знал толк в иконах, он имел большие деньги и большие связи. За одну икону из своей коллекции он мог безбедно дожить до глубокой старости...
- Откуда вам это известно?
- Либерман все знает! Одну из его икон я держал в руках. Это такая икона!.. Нет, вы себе не можете представить...

11

Старший лейтенант Кравцов долго стучал в калитку ворот соседей Ковальчука. Здоровенный пес лаял взахлеб, кидался на сваренные из стальных прутьев ворота, угрожающе щелкая белыми клыками почти на уровне лица инспектора уголовного розыска. Наконец дверь отворилась, и на крыльцо вышел худой взъерошенный хозяин дома в полосатых пижамных брюках и линялой тенниске.

- Вы ко мне?
 - Да, к вам. Уберите, пожалуйста, собаку.
 - Рябко! Пошел вон! Сейчас я его закрою в будке.
- Уютная небольшая комната встретила истомившегося от полуденного зноя Кравцова приятной прохладой. Торопливо смахнув с полированной крышки стола невидимые пылинки, хозяйка усадила его на стул у окна и выскочила на кухню.
- Вошел хозяин, переодетый в новые брюки и рубаху.
- Вы как раз кстати — мы только обедать собрались. Сейчас Мотря на стол накроет.
 - Спасибо, я не хочу. Мне нужно кое-что спросить у вас...

— Э-э, нет, нет! У нас так не водится! — Хозяйка постелила скатерть и принялась торопливо ставить на стол все-

возможные закуски, соленья, салаты. — Уж коль вы в гости к нам пожаловали — будьте добры к столу.

— Незваный гость хуже татарина, — пошутил Кравцов. — Да еще из милиции.

— Ну не скажите! Мы люди честные, это пусть у других поджилки трясутся при виде милиционера, у тех, кому есть что скрывать. А гостя не приветить — грех большой, так меня еще мама учила, царство ей небесное...

После обеда, уютно устроившись в тени небольшой беседки в глубине сада, Кравцов начал расспрашивать гостеприимных хозяев о их бывшем соседе Ковальчуке.

— А что можно сказать о нем? Человек простой, обходительный, муху не обидит. Но денешки у него, конечно, водились... Да вы сами посудите — зубной врач! И притом хороший, люди к нему валом шли, отбоя не было. Ну и, ясное дело, не бесплатно...

— Да ты что, Иван, заладил! — вмешалась хозяйка. — Что ты о нем знаешь?! Вам, мужикам, главное — если не отказывается рюмку за компанию опрокинуть, значит, хороший человек. Изверг он был! Оно и нельзя про покойника плохое говорить — так ведь правда же. Жена его, Ксюшка, через день в синяках ходила, взаперти ее держал, как собаку цепную. А ты — обходительный...

— Скажите, а вот в ночь, когда пожар у Ковальчуков случился, вы, ничего не заметили необычного: шум, может, какой-нибудь, кто-либо приходил к ним или еще что? — спросил Кравцов.

— Нет, не заметили, — ответил хозяин, закуривая.

— Иван, тебе что, память отшибло? Про машину забыл?

— Что за машина? — насторожился Кравцов.

— Вот чертова баба! При чем здесь та машина? Тебя же спрашивают про Ковальчуков...

— А все-таки о какой машине речь?

— Да с работы я, со второй смены возвращался — работаю тут неподалеку, дом строим — напрямик шел, через посадку. Вот и заметил — стоит в кустах машина легковая. Я еще подивился: на нашей окраине ни у кого нет машин, только мотоциклы. Чья бы это могла быть? Подошел поближе — никого. Ну и пошел домой.

— Какой марки машина?

— «Запорожец» старой модели.

— Номер случайно вы не запомнили?

— Номер? Нет, не посмотрел...

— И какого цвета — тоже не помните?

— Трудно сказать, темно было...

Вечером того же дня Кравцов докладывал капитану Бикезину.

— ...Машину мы разыскали, что, впрочем, особого труда не представляло. Оказывается, в ту ночь ее угнали из гаража некоего Костюка, который проживает в деревне Тихая Долина — это примерно в тридцати километрах от города.

— Почему он не заявил в милицию?

— В том-то и дело, что заявил. Да только под вечер ее разыскали в целости и сохранности неподалеку от деревни. Решили, что местные пацаны угнали ради баловства — такое уже случилось.

— А куда и зачем ездил угонщик?

— Удалось установить примерный маршрут. Если следовать версии, что угонщик выехал из деревни около полуночи и должен был во избежание недоразумений справиться со своим делом к рассвету, то получается, что он, возможно, заехал в город, а затем отправился на железнодорожную станцию.

— Кого-то отвозил?

— Не исключено. Потому и не поставил машину в гараж. Если, конечно, предположить, что он из местных жителей. К тому времени уже рассвело.

— Замок гаража взломан?

— Открыт отмычкой. А замок довольно сложный. Тут требуется незаурядная сноровка.

— Специалисты подобного профиля в деревне и окрестностях не числятся?

— Нет, проверено.

— Нужно срочно отправить людей на станцию; и пусть поспрашивают водителей — может, кто заметил в ту ночь «Запорожца» где-нибудь на трассе. Распорядись.

— Хорошо. И еще одно, Алексей Иванович, НТО нам сюрприз преподнес. Читай...

«...Все три записки отпечатаны на пишущей машинке системы «ундервуд»; владельцем которой является адвокат Михайлишин Б. С.».

12

— Адвокат Михайлишин? Это действительно сюрприз... — Полковник Шумко долго вчитывался в акт экспертизы, затем отложил его в сторону и задумался... — Неужели все-таки Михайлишин? Нет, здесь что-то не вяжется. Понимаешь, Алексей, не вяжется.

— Но факты — упрямая вещь...

— А если нам эти факты кто-то подсовывает? Вроде наживы. Пока заглотнем да переварим, гляди, время упущено, ищи, свищи ветра в поле. Ну скажи, с какой стати это ему понадобилось? Мотивы? Нет их, понимаешь, нет! И потом — каким образом он достал яд и как сумел, будучи за тридевять земель от города, отравить Слипчука и Лубенца?

— Значит, вы считаете, что Михайлишин вне подозрений?

— Что ты меня за горло берешь? Это мое личное мнение. А его к делу не пришьешь.

— Кстати, товарищ полковник, поступили новые сведения от экспертов, которые исследовали пожарище.

— Опять сюрприз?

— Похоже. Один из простенков дома во время пожара завалился, и под ним удалось отыскать полуистлевшие остатки икон. Установлено, что они не имеют практически никакой ценности, хотя Либерман утверждал обратное. Возникает вопрос: где самые ценные иконы из коллекции Ковальчука? Сгорели? Тогда почему остались все эти дешевые поделки, тем более что, по словам того же Либермана, и не только его, Ковальчук пренебрегал такой рухлядью и приобретал лишь действительно ценные экземпляры?

— То-то и оно, Алеша. Еще один узелок на память... Так что же, напрашивается вывод: кто-то ограбил Ковальчука, а затем имитировал взрыв газа, чтобы замести следы? Тем более что факты налицо: угнанная машина, ночной рейс от дома Ковальчука на станцию...

— Тогда получается, что мы отрабатываем не тот след.

— Опять всплывает Михайлишин?

— Похоже на то...

— Ну что же, капитан, принимайся за него вплотную.

Адвоката Михайлишина было не узнать. В элегантном темно-синем костюме с искрой, стройный, подтянутый, он выглядел значительно моложе своих лет.

— Вот и опять встретились, — заулыбался он, крепко пожимая руку Бикезину. — Что, не узнаете? То-то же...

— Да, признаться, вас трудно узнать...

— Диета, мой друг, диета. И спорт. Бегаю, прыгаю, плаваю — как в молодые годы. Только вот беда — я ведь все-таки чревоугодник. Ан, нельзя. Питаюсь теперь, как балерина, каждую калорию по косточкам разложу, прежде чем откусать. Как видите, результат налицо.

— С чем вас и поздравляю...

— Нуте-с, что там у вас стряслось? Признавайтесь, капитан, сразу. Надеюсь, вы меня вызвали в управление не чаи гонять?

— Конечно, нет, Богдан Stanisлавович. Все дело в той записке, которую вы получили по приезду из клиники.

— Опять записка! Бред сумасшедшего, и только.

— Не скажите... Мне ли вам говорить об этом!

— Ну что же, я весь внимание...

— Богдан Stanisлавович, у вас есть пишущая машинка?

— Да, есть.

— Вы давно ею пользовались?

— Признаться честно, очень давно.

— Когда примерно последний раз?

— Почему примерно? Могу сказать абсолютно точно. В конце марта этого года я печатал квартальный отчет о своей работе в юридической консультации.

— И никому ее после этого не давали?

— Конечно, нет. Она у меня дома стоит, в шкафу. А в чем дело?

— Дело в том, что та злополучная записка отпечатана на вашей машинке, Богдан Stanisлавович. Притом в последних числах мая — начале июня.

— Как вы сказали? На моей машинке? Не может этого быть!

— Богдан Станиславович, вы адвокат, поэтому, я думаю, не нужно вам объяснять, что мое заявление отнюдь не голословно. Вот заключение экспертов НТО.

— Минуточку... Так... Так... «Ундервуд»... Пойдите! При чем здесь «ундервуд»?! У меня сейчас новая югославская пишущая машинка. А свой старый «ундервуд» я еще в прошлом году, осенью, отдал пионерам на металлолом...

13

Шумко встретил капитана Бикезина в дверях кабинета и, не говоря ни слова, протянул ему лист бумаги. Текст Бикезин схватил буквально одним взглядом. Ответ на запрос о Ковальчуке был ошеломляющим.

«...Ковальчук Ф. А. умер в апреле 1939 года в г. Львова. Сведения о его кончине удалось обнаружить в церковных записях. Гражданские акты о смерти Ковальчука были уничтожены в период оккупации. Кроме того, факт смерти Ковальчука подтвержден свидетельскими показаниями... Родственников Ковальчука Ф. А. разыскать не удалось...»

— Ну, что скажешь?

— Кто же на самом деле этот Ковальчук?

— С таким же успехом и я могу задать тебе этот вопрос.

— Гайворон?

— Нет, Алеша, слишком много свидетелей его кончины. Живых и уже мертвых... Подчеркиваю — уже мертвых. Это не Гайворон, но ниточка тянется, судя по всему, к нему. Вернее, не к Гайворону, а к его последышам...

Замигало световое табло переговорного устройства.

— Товарищ полковник! — послышался голос секретарши. — Старший лейтенант Кравцов просит принять его по неотложному делу.

— Пусть войдет...

Кравцов был взволнован.

— Если по делу Слипчука и Лубенца — выкладывай.

— Товарищ полковник, в последнее время Михайлишин стал заметно нервничать. Складывается впечатление, что он чего-то боится.

— Может, твои ребята «засветились»? Он ведь неплохо ознакомлен с методикой нашей работы.

— Не думаю. В оперативной группе опытные сотрудники.

— Твои предположения?

— Не знаю, что и думать... Продолжаем исследовать его биографические данные, но результаты пока неутешительны.

— Меня тоже не покидают сомнения, правда, несколько другого порядка. Записка... Что-то в этом кроется, но что — просто ума не приложу. Интуитивно чувствую, что записка — это не блеф, а опасная реальность. Но почему она

не сработала? Причастен он или нет к этому делу, мы в конце концов выясним. Но как бы не было поздно...

— Не знаю, может, я что-то упустил из виду во время допроса адвоката... В беседе я осторожно подвел Михайлишина к гибели Ковальчука — просто так, невзначай, как бы случайно. Он охотно откликнулся на предложенную тему, мы поговорили несколько минут о нем. На том все и закончилось. Но, прощаясь с ним, я заметил некоторые странности в его поведении, которые не наблюдались до упоминания о Ковальчуке. Какое-то недоумение, может быть, задумчивость или даже тревога... Все это, конечно, в какой-то мере домыслы...

— Дыма без огня не бывает? Так я тебя понял? Интуиция. Алексей Иванович, в нашей работе стоит не на последнем месте — это сплав опыта и таланта оперативного работника. Не каждому это по плечу... Кстати, пусть твои ребята проверяют, не поступали ли за этот период сведения об исчезновении лиц мужского пола. Как в городе, так и в близлежащих городах и селах...

— Проверим...

— Что нового слышно о Гостеве?

— Пока все то же, товарищ полковник.

14

В кабинет Кравцова вошел розовощекий лейтенант Лукьянов из ОБХСС, которого в управлении ласково называли Бутончиком.

— Привет, Бутончик! Все цветешь?

— Костя, вызову на дуэль, предупреждаю...

— Договорились. Но учти — оружие выбираю я. Заходи сегодня вечером в гости, жена как раз собралась котлеты жарить. Вот и сразимся за столом.

— Э-э нет, уволь. Женюсь, потренируюсь, вот тогда пожалуйста.

— Подождем. А пока с какими новостями пожаловали, дорогой коллега?

— С тебя причитается. Кружкой пива не отделаешься.

— Между прочим, в твоём младенческом возрасте медицина рекомендует пить только разбавленное водой молоко.

— Зануда ты, Костя!

— Ладно, что там у тебя?

— Мы тут одного типчика прихватили, провизора. История, в общем-то, обычная — хапнул лишку, возмечтав о шикарной жизни, а теперь слезами полы моет: «Дети, семья, не знал, виноват...» Короче, знакомые вариации на тему с заблудшей овце. Так вот на одном из вопросов он упомянул некоего Ковальчука. Насколько я знаю, он по вашему ведомству сейчас проходит...

— Этот провизор сейчас у тебя? — обрадовался Кравцов.

— В кабинете дожидается...

Провизор Головинский, заплывший жиром человек, с красными, словно у ангорского кролика, глазами, сидел на стуле и поминутно сморкался в огромный носовой платок.

— ...Он пригрозил, что пойдет к вам и все расскажет. Я боялся... Я не хотел, честное слово!

— Честное слово здесь ни при чем, Головинский, — сказал Кравцов и, чуть помедлив, спросил: — Откуда Ковальчук узнал о ваших махинациях с дефицитными лекарствами!

— Не знаю, не знаю, гражданин следователь! Однажды он зашел ко мне, принес «Уголовный кодекс» и прочитал статью. И сказал, что мне не отвертеться, он рассказал мне такое про меня самого... Я поверил...

— И что дальше?

— Ковальчук пообещал, что никому об этом не расскажет, и даже предложил свои услуги.

— А именно?

— Ему нужны были дефицитные лекарства, не помню какие.

— Придется вспомнить, Головинский. У вас для этого время будет...

— Я вспомню, обязательно вспомню, гражданин следователь.

— За лекарствами Ковальчук приходил сам?

— Всегда сам. Только один раз...

— Ну, ну, вспоминайте.

— Один раз он был с кем-то. Тот, другой, остался на улице, но я видел — здоровый такой. И разговор слышал. Он его Мироном называл. Про море говорили, кажется, про Новороссийск...

15

Море плескалось о набережную, мириадами солнечных зайчиков, отражаясь на бетонных парапетах. Чайки неутомимо пикировали в зеленовато-серебристую воду. Центральный городской пляж шевелился под ласковым летним солнцем золотисто-бронзовой узкой лентой. Изредка за красными буйками ограждения проскальзывал юркий катерок, а иногда чуть поодаль торжественно проплывал и черный сухогруз или сахарно-белый лайнер, направляясь в очередной рейс к далеким островам и странам. Тогда безмятежное спокойствие водной равнины нарушалось — тяжелые волны шли на берег, откатывались назад, вызывая смех и визг застигнутых врасплох пляжников, унося неосторожно оставленные у самой воды вещи.

В пивбаре, выполненном в виде огромной деревянной бочки, было столпотворение: подвезли свежее холодное пиво, и толпы отдыхающих брали входную дверь приступом. Бикезину и Кравцову удалось проскочить к стойке одними из первых, и теперь они удовлетворенно потягивали терпковатое пиво, слегка отдающее соленой морской водой.

Покусывая серебристую чехонь, которую раздобыли гостеприимные коллеги из Новороссийского угрозыска, капитан внимательно присматривался к Мирону Сергачу, сидевшему за соседним столиком. Неземное блаженство светилось в рачьих глазах Сергача. Но Бикезин уже достаточно хорошо знал этого человека, чтобы поверить в его медлительную простоту. Иногда в глазах Мирона появлялся хищный настороженный проблеск, и острые буравчики покалывали толпу. В такие моменты рыхлый студень откормленного туловища напрягался, и сквозь выгоревшую на солнце тенниску начинали проглядывать внушительного размера мышцы. Сила в его коротких пальцах-обрубках была необычайная — об этом капитана предупредили в первые же день. Мирон шутя ломал подковы и на спор, под «пузырь», гнул пятки. И хитрости ему было не занимать.

Тем временем толпа страждущих прибывала. Бикезин с Кравцовым одолели по два бокала пива, а Мирон все так же невозмутимо вливал в свое бездонное брюхо кружку за кружкой. Неожиданно один из оперативников, помогавших капитану, подал ему знак — к столику Мирона направился коренастый крепыш с татуировкой на груди. Широко улыбаясь золотым зубом, он втиснулся в человеческий частокол у столика, одним махом опрокинул в себя кружку пива и что-то скороговоркой шепнул Мирону. Тот, не оборачиваясь, чуть кивнул головой, допил очередную кружку и, слегка помедлив, начал пробираться к выходу.

— Это Фиксатый, — успел шепнуть Бикезину оперативник. — Бывший борец...

Солнце уже окунулось в море, и длинные вечерние тени легли на горячий асфальт. По улицам сновали озабоченные курортники с авоськами, бойкие торговки с корзинами цветов наперебой предлагали букеты прогуливающимся парочкам, у бочек с квасом все еще толпились ошалевшие от дневного зноя жители города с бидонами и бутылками — запасались впрок, на следующий день.

Небольшой дом, посеревший от цементной пыли, к которому привели оперативники Мирон и Фиксатый, затаился среди многочисленных пристроек и заборов. К нему вел один-единственный узкий переулок, поросший чахлой, истоптанной травой, среди которой проглядывали россыпи галечника и щебенки. Незаметно подобраться вплотную к дому не представлялось возможным, потому оперативники пристроились поодаль, ожидая темноты.

16

Деньги лежали на покрытой бурыми винными пятнами скатерти в окружении бутылок с водкой и коньяком. Трое мужчин пересчитывали купюры, раскладывая их на три кучки. Самая большая кучка денег лежала перед Мироном, который своими пальцами-коротышками на удивление ловко и быстро тасовал ассигнации. Фиксатый изредка обнажал в

хищном полуоскале свои золотые коронки, с завистью бросал быстрые взгляды на Мирона, но, наталкиваясь на его мутные глазища, снова принимался слюнявить пальцы, еще и еще раз пересчитывать свою долю. Третий, хозяин дома, бывший музыкант филармонии, пианист Смуриков, которого выгнали с работы за пьянку, суетился, словно хорек в курятнике: порывисто хватал хрустящие купюры, бестолково совал их в свою кучку, которая, когда он жадно проглатывал содержимое очередной рюмки, снова рассыпалась. Под столом затаилась небольшая собачонка с грязно-белой свалявшейся шерстью. Ворча и обиженно потягивая, когда кто-либо из участников дележа наступал ей на хвост или лапы, она проворно хватала острыми зубами остатки рыбы, которую гости кидали под стол. Комнату освещала лишь одна лампочка, повисшая на мохнатом от пыли электрошнуре. Видно было, что здесь давно не убиралось: в углу валялись пустые бутылки, по занавескам ползали скопища мух, на запыленном пианино, около окна, стояли немытые тарелки и закопченный чайник.

— М-мирон Степаныч, почем-му м-мне так м-мало, — жалобно промычал отставной музыкант.

— Мурик, не мельтеши, — отмахнулся от него Мирон. — Деньгу шшищать надо, она шшет любить. Понял?

— Так я считаю...

— Плохо шшиташы! Месяц назад ты стольник у меня брал? Брал... Потом ишо полста и четвертак. Секешь? А твоих баб в кабаке кто поил? Я! За три захода пять сотенных как корова языком слизала... Мне от этих девок какая корысть? Вот я с тебя и вышшитал — эт те наука будеть, Мурик...

— Га-га-га! — заржал Фиксатый. — Женщины теперь тоже с умом пошли — тугой кошелек за версту чуют. Берут нашего брата на живца: чуть зазевался — и за жабры...

— Во! — поднял палец вверх Мирон. — Золотые слова! Учись у Фиксатого, музыкант, человеком станешь!.. Згоняй-ка, Мурик, в погребок, винца плесни — там у тебя ишо имеется...

Иннокентий Смуриков, которого за его легкое заикание на букве «м» прозвали Мумуриком, а для краткости Муриком, сгреб свои деньги в сумку из мешковины, на которой были нарисованы какие-то длинноволосые хиппи с гитарами — последний крик моды — и вышел во двор. За ним прошмыгнула и белая собачка, на прощание цапнув за ногу Фиксатого.

— У-у, зараза! — заорал тот. — Попадешься ты мне, стервоза...

— Собака знать, каво кусать... — ухмыльнулся Мирон, распахивая деньги по карманам. И застыл прислушиваясь.

Звонкий собачий лай, рассыпавшись по подворью, вмиг разметал вялое благодушие Мирона и Фиксатого. С закаменевшим лицом Сергач поднялся из-за стола и быстро прошел к входной двери. За ним, слегка пригнувшись, словно

борец на ковре перед схваткой, заспешил и Фиксатый. Дверь скрипнула, и на пороге появился взъерошенный Мурик с кувшином в руках.

— Братва! Там-м кто-то ходит!

— Тихо, ты, клепало! Кто ходит?

— Не знаю...

— Может, соседи?

— Нет, на соседей Бем-моль не лает.

— Та-ак, понятно... Ну-ка посторонись, Мурик. Побудьте в доме. Я сейчас.

Через несколько минут Сергач появился в дверном проеме и угрюмо посмотрел на своих дружков.

— Мурик, запри двери.

— Ну что?

— Хана, вот что! Менты бродят около дома.

— Ты их видел?

— Мне их видеть необязательно. Я их на нюх чую...

— Что делать будем?

Неожиданно щелкнул замок, открылась дверь одной из комнат, и глуховатый мужской голос произнес:

— Мирон! В чем дело?

Фиксатый оторопел:

— К-кто это? — заикаясь, спросил он.

— Что за шум, Мирон? — опять переспросил человек, уставившись на Сергача.

— Менты шуруют вокруг дома... — буркнул тот.

— «Хвоста» приволокли? Я тебя предупреждал, Мирон, или нет? Ну!

— Да. Виноват... Кто знал...

— Слышь, Мирон, что за тип?! — озлился Фиксатый и подошел вплотную к вошедшему. — Ты кто такой?

— Ша, Фиксатый! — Лапа Мирона легла ему на плечо, и тот, повинувшись медвежьей силе, отшатнулся. — Тебе это знать ни к чему. Свой человек...

— Свой, свой, — заворчал Фиксатый. — Знаем мы таких своих.

— Зови меня Богданом... — примирительно сказал человек и спросил у Мирона: — Так что будем делать?

— А черт его знает! Уходить надо...

— Каким образом?

— Помозговать нужно...

— Чего уходить? — вмешался Фиксатый. — Они что, нас на деле застукали? Деньги не пахнут, а товар мы без лишних свидетелей толкнули. Все чисто.

— Помолчи! — взорвался Сергач, недобрым взглядом окидывая его с ног до головы. — Не про тебя разговор.

— А если не про меня, тогда я лучше пойду! Покеда!

— Я те пойду! Шустрить начал?! — Мирон закрыл своей квадратной тушей дверной проем. — «Стукачом» решил стать или как?

— При чем здесь это?

— Притом, Фиксатый. Мы с тобой одной веревочкой связаны! Если нас из-за тебя менты в «воронку» запихнут,

то я исповедаюсь про то, как ты «нечаянно» воткнул «перо» обэхэснику два года назад...

— Ах ты ж, бога душу!.. — заматерился Фиксатый и шваркнул со всего размаху по губам Мирона.

И тут же, посерев лицом, с тихим стоном опустился на колени, — короткие пальцы-обрубки Мирона клещами впились в его запястье.

— Землю грызть будешь, падла! — Бешеная злоба искривила лицо Сергача, и он медленно начал отводить вторую свою руку для удара!

— Мирон! Оставь его! — резко и повелительно приказал ему Богдан. — Нашел время! Будем уходить... Прорвемся. Иннокентий! Подойди сюда. Окна моей комнаты открываются?

— Да. Только нужно вторую раму выставить.

— Займись... А теперь давайте потолкуем...

Бикезин от досады ругнулся про себя. Ну кто просил этого парня из оперативной группы лезть под окна?! Да еще со стороны подворья... Он видел, как Мирон медленно, словно прогуливаясь, прошелся по двору, заглянул за сарай, на улицу и скрылся в доме. Ситуация была хуже некуда. Операция явно срывалась: Мирон заподозрил неладное. Капитан лихорадочно соображал, что предпринять в сложившейся обстановке. Теперь наблюдать за Сергачом не имело никакого смысла — с таким же успехом с сегодняшнего вечера можно было следить за причальной тумбой. И главная беда заключалась в том, что Мирон мог, затаившись, ждать сколько ему заблагорассудится, тогда как им такую роскошь не позволяло неумолимое время. А его и так уже было потеряно предостаточно. Брать? А если это пустой номер? Полнейший провал операции, на которую было столько надежд, тщательно подготовленную и отработанную в нескольких вариантах. И теперь все эти варианты, которые казались логичными и неотразимыми, превратились из-за ошибки неопытного оперативника в прах. Что же делать? Обыскать дом? На каком основании? Где разрешение прокурора? Капитан ругал себя последними словами за то, что не сумел правильно скоординировать действия оперативников, хотя и отдавал себе отчет в том, что большой его вины в этом нет — просто были вопреки приказу нарушены элементарные правила наблюдения. И теперь нужно было искать выход из создавшегося положения...

Минуты тянулись медленно, настороженная тишина царила в переулках и на подворье. Что задумал хитроумный Мирон? В том, что он сейчас готовится предпринять какие-то действия, Бикезин почти не сомневался. Детально ознакомившись в управлении с делом Сергача, капитан хорошо представлял себе всю сложность борьбы с таким сильным противником. Чего стоило опергруппе сегодняшнее наблюдение за Сергачом и Фиксатым: добрых три часа плутали по городу и окраинам, пока наконец добрались до этого дома.

Как успел уже выяснить капитан у местных сотрудников угрозыска, они впервые вышли на этот адрес, и, судя по их данным, за хозяином дома не наблюдалось что-либо противозаконное. Уже одно это обстоятельство подсказывало капитану, что след верный, и если бы не оплошность!.. Что делать, что предпринять, чтобы спасти операцию? Оставался единственный шанс — открыть дорогу Мирону и Фиксатому, оставить их без внимания и наблюдения в расчете на то, что они все-таки поверят в беспочвенность своих опасений и успокоятся. В данной ситуации наблюдать за ними — задача архисложная, и малейшая ошибка будет провалом операции, окончательным и бесповоротным.

Бикезин включил рацию, готовясь выйти на связь с Кравцовым, который с оперативниками перекрывал переулочек, но в это время скрипнула дверь, и во двор вышли МIRON и Фиксатый. Фиксатый шел чуть сзади, загребая ногами камешки. Они миновали Бикезина, затаившись в маленьком тупичке напротив дома, и зашагали по переулку.

Все дальнейшее произошло молниеносно. У выхода из переулка, на скамейке, сидели два оперативника, изображавшие подвыпивших парней, которые сообразили на двоих и теперь, пользуясь поздним временем, распивали бутылку прямо из горлышка, закусывая сигаретным дымком. Чуть поодаль, в переулке напротив, находился и Кравцов... Беззвучно, не сговариваясь, МIRON и Фиксатый бросились на оперативников. Шум драки вмиг разрушил хрупкую тишину южной ночи. В домах начали зажигаться огни, захлопали двери, залаяли собаки, кто-то истошным голосом стал звать соседей, чтобы унять драчунов. Мимо Бикезина стремглав пробежали еще два оперативника, прикрывающие дом с тыла, и вклинились в клубок тел, который грузно ворочался в переулке. Капитан тоже хотел было последовать их примеру и тут же остановился. С какой стати МIRON и Фиксатый затеяли такую шумную потасовку? Где логика? Ведь они знали практически наверняка, что парни из милиции. Спровоцировали драку? Зачем? И, уже ни секунды не мешкая, капитан метнулся на подворье дома. Дверь была заперта, в доме тихо. Стараясь не шуметь, Бикезин проскользнул мимо окон и заглянул за угол дома. Никого... И тут он расслышал слабый скрип несмазанных оконных петель. Кто-то открывал окно. Подтянувшись на руках, Бикезин бесшумно перевалил через забор и увидел в соседнем переулке человеческую фигуру. Прижимаясь к заборам, человек крупными прыжками убегал в сторону порта. Бикезин ринулся вслед за ним. Забор, что-то подворье, еще забор...

Нога подвернулась, и капитан с разбегу рухнул на груды щебенки. Когда вскочил, то уже не увидел беглеца. «Упустил!» — ужаснулся капитан, чувствуя, как лоб покрылся неприятной холодной испариной. Из всех сил рванул вперед, выскочил из переулка и наконец снова заметил убежавшего человека. Тот уже взбирался на дорожную насыпь с намерением перехватить такси, зеленый огонек которого приближался со стороны пригорода. Такси остановилось и

тут же снова рвануло с места. На дороге ворочался человек, стараясь встать на ноги.

— У-у, гад! — Человек с трудом поднялся. Из рассеченного виска струилась кровь.

— Документы!

— Таксист я, Ваулин Николай, — протянул тот права.

«Машину, срочно машину!» — Бикезин выскочил на проезжую часть. Первая же — «Лада», истошно взвизгнув тормозами, остановилась буквально в двух шагах от него.

— В чем дело? — открыв дверцу, спросил водитель.

— Уголовный розыск! Мы преследуем опасного преступника! Он угнал такси и уехал в сторону города!

— Садитесь!

— И я! — подскочил таксист и нырнул вслед за капитаном в салон «Лады».

Такси они настигли уже на улицах. Машина на полном ходу проскочила центр города и запетляла по переулкам. Вскоре «Лада» пристроилась в каких-то двадцати метрах позади нее.

— Что будем делать? — спросил водитель.

— Попробуйте обогнать. Только поосторожнее.

— Хорошо. Сделаем...

«Лада», стремительно набрав скорость, почти поравнялась с такси. Но такси дернулось влево, загораяживая проезжую часть. Наконец на одном из поворотов «Лада», въехав на тротуар, сумела вырваться вперед. Преступник резко крутанул баранку, пытаясь достать «Ладу» бампером, и не рассчитав: проскочив тротуар, машина снесла небольшой застекленный киоск и, чиркнув боковиной о фонарный столб, уткнулась в кустарник.

Когда Бикезин выскочил на дорогу, преступник уже успел нырнуть в подворотню дома. Он кинулся следом, и как раз в этот момент прогремел выстрел. Ваулин прыгнул за большой мусорный ящик. Снова громыхнул выстрел, и пуля, срикошетив от стены, впиалась в землю рядом с капитаном.

Слегка высунувшись из-за своего укрытия, Бикезин выстрелил, целясь выше вспышки. Ответного выстрела не последовало. Преступник, который укрывался за трансформаторной будкой — Бикезин успел заметить его фигуру, — попал в западню: позади высился каменный забор, перескочить через который тот не мог при всем желании. Капитан включил свою портативную рацию, пытаясь выйти на связь с опергруппой, и тщетно — видимо, при падении он ее повредил.

«Нужно брать!» — решил Бикезин и посмотрел на своих помощников. Ваулин лежал на дороге, а водитель «Лады» переползал за угол дома, к капитану. Бикезин привстал, пытаясь прикинуть расстояние от будки, и едва успел отпрянуть за ящик: еще одна пуля разнесла в щепки доску над головой. «Интересно, какой системы у него оружие? — подумал капитан, считая выстрелы. — По звуку — калибр крупный, явно не дамская хлопушка, но вот сколько патронов в обойме?..» Нашупав камень, он отшвырнул его в сто-

рону — снова удар пули о стенку ящика. Бросил второй камень, и опять прогремел выстрел. На третий раз уловка не удалась — выстрела не последовало. «Сколько же у него патронов в обойме? Семь? Девять?» — думал Бикезин, наблюдая за действиями преступника, который переползал за старый «Москвич», стоявший в глубине двора. «Неужели «вальтер»? Девятизарядный... Тогда еще три в запасе. Или наган? Звук похож... Проверим еще раз». Бикезин снял пиджак, повесил его на палку, которая лежала у стены, и приподнял над головой. Выстрел не заставил себя ждать. «Так, похоже, что «вальтер», патронов не бережет, — удовлетворенно констатировал Бикезин. — Еще одну пулю — мне, а последнюю — себе? Не исключено. И даже очень похоже. Как видно, ему терять нечего... Ну что же, нужно рискнуть спровоцировать его опустошить обойму. Даже если есть запасная, перезарядить не успеет... Брать только живым!..» Подобравшись, капитан метнулся вперед, к трансформаторной будке. Выстрел, второй! Пуля обожгла предплечье, но капитан снова ринулся вперед, к «Москвичу». Преступник побежал к забору, нож сверкнул в его руке. Бикезин отбил удар ногой в высоком прыжке. Следующий удар преступник нанести не успел — мгновенный захват с подсечкой оторвал его от земли, и он со всего размаха грохнулся на камни. Все! Теряя сознание, Бикезин всем телом навалился на преступника, пытавшегося вывернуться...

Очнулся капитан от запаха нашатыря. Ему помогли подняться. Вокруг толпились люди, видимо, жильцы близлежащих домов. Чуть поодаль сидел на земле со связанными руками и тот человек, который так нужен был капитану только живым. Бикезин подошел к нему.

— Ковальчук? Или как тебя там?.. Вот и встретились... прищелец с того света.

Бикезин спокойно посмотрел в его холодные, полные страха и ненависти глаза и медленно пошел навстречу милиционеру «газику», который заруливал во двор.

17

В кабинете было душно. Капитан подошел к окну, отдернул штору. Ветерок ворвался в комнату и вымел назойливую духоту.

— Как здоровье, Алексей Иванович? — В кабинет вошел Кравцов с перебинтованной рукой на перевязи.

— А я только что о тебе подумал. На здоровье уже не жалуюсь, заштопали меня врачи по всем правилам. Как у тебя, Костя?

— У меня еще не скоро гипс снимут... Зудит...

— Да, поработал-таки своими «рычагами» Мирон Сергач. В дверь кабинета постучали.

— Войдите!

— Извините, я вам не помешал? — Адвокат Михайлишин нетвердыми шагами направился к столу капитана.

— Нет, нет, прошу вас, Богдан Станиславович. Садитесь...

В который раз Бикезин поражался тем метаморфозам, которые происходили на его глазах с адвокатом. И сегодня — тем более. Перед ним сидел старый, испитой, заросший щетиной человек. Костюм в сальных пятнах, несвежая рубашка с оборванными пуговицами, небрежно повязанный галстук с замусоленными концами... И руки... Какие-то жалкие, беспомощные, с обгрызенными ногтями, они то и дело суетились в поисках чего-то невидимого, эфемерного, которое все время ускользало, заставляя их владельца недоумевать, страдать и бояться. Потухшие глаза адвоката, подслеповато щурясь, беспокойно ощупывали стол, стены, пол в кабинете и даже словно бы что-то внутри себя.

— Я слушаю вас.

— Алексей Иванович, бога ради, простите мне мой вид. Мне стыдно... Я виноват...

— Что случилось?

— Скажите, капитан, вы представляете, что такое идти в атаку? Во весь рост, под пули, в разрывах мин и гранат... Страшно? Да! Очень... Но рядом с тобой твои товарищи, друзья. А позади Родина. Смерть — не избавление от мук и не просто шаг в небытие, а продолжение жизни. Пусть не твоей — твоих детей, внуков, родных и близких, твоих друзей... Я прошел всю войну от порога родного дома до Берлина. Со смертью в обнимку — но я ее не боялся. Нет! Не было в моем сердце такого чувства, понимаете, не было! Два тяжелых ранения, контузия и бог знает сколько мелких царапин — все выдержал. Берил в жизнь... в будущую прекрасную жизнь. А вот теперь... Теперь я боюсь! Я трус! Понимаете, трус!..

— Успокойтесь, Богдан Станиславович! Что с вами?

— Со мной? Со мной пока ничего. И это самое страшное! Пока ничего. Пока...

— Так все-таки скажите же наконец, что с вами происходит?

— Капитан, я знаю, от чего умерли Слипчук и Лубенец. Нет, не перебивайте меня! Давно знаю...

— Откуда?

— Алексей Иванович, я уже четверть века работаю адвокатом... Записка. Все дело в ней... Я понял, все понял. Это не блеф.

— Да, вы правы.

— Вот! Я испугался... Смерти испугался! Чего ради? В мои годы? Запаниковал. Это я-то, полковой разведчик, старший сержант Михайлишин! Да какой я после этого!.. Ходил в штыковую — не боялся, «языка» брал — не боялся, сколько раз прикрывал отход разведгруппы — не боялся! А теперь вот... струсил. По ночам не сплю... Стыдно! Опустился!..

— Я просто затрудняюсь что-либо вам ответить. Все это очень сложно. Мое сочувствие вам не поможет. Но я думаю, что вы совершенно напрасно себя изводите.

— Да, да, может, вы и правы. Может быть... Послушайте, Алексей Иванович! Мне помнится, вы однажды спросили у меня про Ковальчука.

— Просто, в разговоре...

— Не-ет, не просто! Я понимаю: идет следствие, и вы не вправе мне что-либо рассказать. Служебная тайна... Вот я после этого разговора и задумался. Почему именно Ковальчук? И кое-что вспомнил! Не знаю, насколько это вам интересно, но поведение Ковальчука в тот день было какое-то странное...

— В какой день?

— Понимаете, у меня зубы, в общем-то, пока на удивление неплохие. Нельзя сказать, что я чересчур много уделяю им внимания, но в мои годы иметь такие зубы... У нас в роду у всех зубы отличные. Только два зуба у меня отсутствуют — в одном из поисков встретились с немецкой разведкой, и в рукопашной фриц автоматом заехал по зубам... Так вот, не помню с какого времени у меня стояли обычные, металлические зубы. Но с некоторых пор ко мне на работу зачастил Ковальчук — мы с ним были просто знакомыми. Он обращался ко мне с просьбой посодействовать в возвращении патента. И вот однажды он наметнул мне, что хорошо бы поставить вместо моих старых протезов новые, золотые. Я сначала отказался, а потом подумал: а почему бы и нет? Денег жалко, что ли? И согласился... Записался в очередь — желающих вставить золотые зубы и коронки очень много, очередь длинная, года два ждать нужно. И забыл, представьте себе, об этой затее. И вот однажды, перед моим отъездом на лечение, ко мне зашел Ковальчук. Домой. Сказал, что подошла моя очередь и что мне нужно срочно явиться в стоматологическую поликлинику. Я пришел туда, и он мне изготовил два отличных протеза...

— Так что же здесь необычного?

— А то, что оказалось, моя очередь не подошла и до сих пор — я недавно проверил! Вот тогда я и вспомнил, что Ковальчук мне сказал на прощание, когда поставил протезы: «Вам они очень к лицу. Думаю, что вы скоро убедитесь в этом. И вспомните... лучшего зубного врача города». При этом он так посмотрел мне в глаза, что я невольно содрогнулся. Вам когда-нибудь приходилось видеть вблизи глаза змеи? Именно с такими глазами мне и запомнился Ковальчук в тот день...

— Пойдите, пойдите, Богдан Stanisлавович! Минуту...

«Вспомнил! Наконец-то! Неужели!» Бикезин схватил со стола папку с делом об убийстве Слипчука и Лубенца и принялся лихорадочно листать ее. Фотографии судмедэкспертизы... Есть! Как же это он раньше не догадался об этом? Нельзя медлить ни минуты!.. И капитан включил селекторную связь — срочный вызов дежурной машины...

Ковальчук отмалчивался уже два дня. Серые глаза равнодушно смотрели куда-то вдаль и только изредка вспыхивали злобой, которая превращала лицо в маску ненависти. Односложные «да» и «нет» — вот все, что иногда удавалось добиться Бикезину на допросах.

— Ну что же, будем по-прежнему молчать?.. Тогда придется мне говорить. Посмотрите сюда! Это фоторобот, причем довольно удачный, как видите, это вы собственной персоной... Нам удалось проследить ваш путь вплоть до Новороссийска — вот свидетельские показания кассира железнодорожной станции, проводниц вагона, вашей попутчицы... Корешок авиабилета, паспортные данные — Домич Богдан Михайлович. «Липа». Хорошо сработанная, явно не кустарщина... К этому вопросу мы еще возвратимся... Скажите, вы знакомы с Гостевым Олегом Гордеевичем?

— Нет...

— Странно... Вот его фотография, а это еще один фоторобот — со скульптурного слепка. Так каким образом, гражданин Ковальчук, этот самый Гостев очутился под обломками вашего дома?

— Не знаю.

— Зато мы знаем... Но и об этом чуть позже. Кто вас отвез на станцию?

— Какая разница...

— Есть разница! Мирон Сергач. А теперь ответьте, Ковальчук, где ваши знаменитые иконы?

— Сгорели во время пожара.

— Ну не скажите... Вот заключение экспертов, фотографии икон. А где остальные?

— Не знаю!

— Ну что же, придется освежить вашу память, коль вы позабыли свой тайник в Новороссийске. Прошу! Вот они!

Бикезин открыл небольшой ящик, в котором лежали иконы, аккуратно завернутые в бумагу и полиэтиленовые мешочки.

— Как видите, в целости и сохранности. Между прочим, самые ценные из вашей коллекции. Побоялись отправить посылкой через знакомых Мирона Сергача? Правильно сделали, Ковальчук. Иконы действительно представляют собой большую историческую и художественную ценность и вскоре займут по праву надлежащее им место в наших музеях. Это единственное доброе дело, которое, сами того не ведая, вы совершили... А теперь перейдем к следующему вопросу. Ваша настоящая фамилия?

— Ковальчук.

— Вот заключение о вашей смерти, свидетельские показания и прочее... Достаточно?

— Да.

— Так в чем же дело?

— Мне все равно, под какой фамилией я буду значиться в ваших списках расстрелянных...

— Расстреляют вас или нет, решит суд. Прошу это учесть в дальнейшем и не упорствовать отмалчиваясь. Пусть я еще раз повторюсь, но чистосердечное признание суд не оставит без внимания, и вы это обязаны знать.

— Возможно...

— Итак, ваша фамилия?.. Опять не хотите отвечать? Тогда посмотрите на эту фотографию. Ну что, узнаете? Семейство Баняков в полном составе! А рядом с Мирославом, в будущем — главарем банды Гайвороном, стоите и вы, сын младшего брата старого лавочника Баняка — Степан Баняк!

— Предположим. Ну и что из этого?

— Так предположим или вы подтверждаете, что ваша фамилия Баняк?

— Да... Подтверждаю.

— Это уже хорошо... Из этого кое-что следует... Поскольку вы Степан Баняк, значит, хорошо знали Гайворона. Надеюсь, вы не будете отрицать этот факт?

— Гайворона я не знал.

— Ну как же — разве Мирослав Баняк не ваш двоюродный брат?

— Мирослав — да, а Гайворона я не знаю, и вообще впервые слышу эту кличку... или фамилию...

— Так и запишем... У вас была пишущая машинка?

— Нет, не было.

— А вот соседи утверждают обратное. Читайте...

— Ошибаются...

— И грузчик приемного пункта Вторчермета, Сулименко, который продал вам пишущую машинку системы «ундервуд», тоже ошибается?

— Было такое дело... Только я ее вскоре выбросил на помойку из-за неисправности.

— Значит, и этот факт вы подтверждаете. Тогда скажите, из каких побуждений вы отпечатали и отправили Слипчуку, и Лубенцу, и Михайлишину вот эти три записки?

— Я их впервые вижу.

— Вот заключение экспертов, что они отпечатаны на «ундервуде», который вы купили у Сулименко.

— Повторяю, я не имею к этим запискам ни малейшего отношения!

— И к угрозам, которые составляют содержание этих записок, тоже?

— Да! Не имею!..

— Спокойнее, Баняк. У меня тут кое-что есть... Вот посмотрите. Этот золотой зуб-протез изготовили вы лично, гражданин Баняк. Вот свидетельские показания адвоката Михайлишина.

— Михайлишина?! ..

— А что вас так удивило? Да, Михайлишина. Вы с ним еще встретитесь... попозже... Так вы не отрицаете, что зубной протез для Михайлишина изготовлен вами?

— Н-нет...

— Взгляните на фотографию. Это зубной протез, увеличенный в двадцать раз. Хорошо просматривается внутреннее

строение. И вот здесь, сверху, у режущей части зуба есть небольшая пустота, заполненная ядом. Через определенный, строго рассчитанный промежуток времени яд попадает в полость рта, потому что во время еды режущая часть зуба деформируется и истирается. На этом снимке видно, что золотая пленка, предохраняющая каверну с ядом от контакта с полостью рта, истончилась до нескольких десятков микрон. Еще день-два — и спасти жизнь адвокату Михайлишину было бы невозможно... Что вы на это скажете?

— Я ничего не знаю! Какой яд? Выдумки! Еще одно дело шьете? Не на кого спихнуть?

— Гражданин Баняк! Перестаньте разыгрывать комедию! Вы что же, не верите фактам? Тогда вот еще документы, подтверждающие, что яд, который находится в зубном протезе, — из группы контактных ядов. И изготовлен он вами. Яд южноафриканской гремучей змеи вам достал Гостев. А другие компоненты контактного яда, сам не ведая для каких целей, предоставил вам провизор Головинский. Поскольку они входят в состав некоторых дефицитных лекарств, которые вы заполучили с аптечного склада. Посмотрите показания Головинского и заключение фармацевтов...

— Сволочи! Гады! Ненавижу! Всех... всех... убивать! Не доживу.. Не до-жи-ву!.. А-а-а!!

19

Из протокола допроса Степана Баняка:

«...СЛЕДОВАТЕЛЬ. Расскажите о Гостеве.

БАНЯК. Я с ним познакомился в 1970 году, в доме отдыха. Мы жили в одной комнате. Он много рассказывал о свойствах различных ядов, о змеях... Я еще не знал тогда, что все эти сведения мне когда-либо понадобятся. Но Гостев на всякий случай «привязал» к себе — одолжил ему крупную сумму. Потом еще давал денег. Так он стал моим должником.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Кто изготовил контактный яд?

БАНЯК. Гостев.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Он интересовался, для каких целей вам нужен этот яд?

БАНЯК. Он долго не хотел мне его делать. Но потом... Короче говоря, я напомнил ему о долге.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Что случилось в последний приезд Гостева к вам?

БАНЯК. Мне нужно было уходить... И выиграть какой-то промежуток времени, чтобы не вызывать подозрений. Тогда у меня возник план... оставить его вместо себя...

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Из каких соображений Сергач вам помогал?

БАНЯК. Во время войны Сергача немцы отправили было в Германию, но по дороге ему удалось бежать. Некоторое время он скрывался в горах, пока не наткнулся на боевиков Гайворона... Его хотели повесить, но я вступился за него с

условием, что он примет нашу присягу и вступит в отряд. Мирон согласился... А через полгода после этого, во время одной из операций, Сергач сбежал... Только в шестьдесят девятом году я встретил его во Львове. Напомнил ему о прошлом, и он согласился мне помогать.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Почему вы решили мстить именно Слипчуку, Лубенцу и Михайлишину? Боялись, что они вас опознают?

БАНЯК. Так уж получилось, что после окончания института я поселился здесь. Когда однажды случайно встретил Слипчука и Лубенца, то очень испугался: мы ведь земляки, и они знали хорошо моего старшего брата Богдана, потому что учились вместе. Я отпустил усы и бороду, старался не попадаться им на глаза, даже подумывал о перемене места жительства. Но по истечении некоторого времени убедился, что мои опасения беспочвенны... До встречи с Гостевым я не имел намерения мстить, поскольку это было мне не по силам. Да и нельзя было привлекать к себе внимание. А тут подвернулся такой удобный случай. Я все рассчитал. Опыт у меня большой по изготовлению зубных протезов... Лубенец сам пришел в стоматологию, а Слипчука и Михайлишина пришлось уговаривать... Не могу только понять...

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Почему Михайлишин остался жив? Могу сказать. Он месяц лечился голоданием и, естественно, ничего не ел. А значит, соответственно, процесс истирания зубных протезов у него замедлился...»



**На I, II, IV стр. обложки и на стр. 2, 23, 67 и 75 рисунки
Ю. МАКАРОВА.**

**На III стр. обложки и на стр. 76, 84, 85, 90, 91 и 127 рисунки
В. СМЕРНОВА.**

Под редакцией А. В. НИКОНОВА и В. А. РЫБИНА

Редакторы выпуска В. РЫБИН и Е. КУЗЬМИН

Художественный редактор Т. ПРОКУДИНА

Технический редактор А. БУГРОВА

**Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия»
Адрес редакции: 125015, Москва, Новодмитровская, 5а
Тел. 285-80-10, 285-88-84**

**Сдано в набор 14.01.83. Подписано в печать 18.02.83. А05062.
Формат 84×108^{1/32}. Бумага газетная. Гарнитура «Литературная».
Печать высокая. Усл. печ. л. 6,72. Уч.-изд. л. 10. Тираж 275 000 экз.
Цена 60 коп. Заказ 30.**

**Типография ордена Трудового Красного Знамени изд-ва ЦК ВЛКСМ
«Молодая гвардия». 103030, Москва, К-30, Суцеская, 21.**



Олег ВОРОНИН — Нет, не другие
Юрий МЕДВЕДЕВ — Чаша терпения
Дмитрий Де-СПИЛЛЕР — Межзвездные звоны
В. ГЛАДКИЙ — По следу змеи

Цена 60 коп.

